

Николай Добролюбов

Непостижимая странность



Николай Александрович Добролюбов

Непостижимая странность

«Непостижимая странность» открывает «итальянский» цикл статей Добролюбова, возникших в связи с пребыванием его в этой стране с декабря 1860 по июнь 1861 г. Выехав за границу на лечение в мае 1860 г., Добролюбов провел там, переезжая из страны в страну, более года. То обстоятельство, что половину этого срока он прожил в Италии, несомненно объясняется притягательной силой происходивших там событий. 1859–1860 гг. стали решающим этапом в борьбе итальянского народа за национальное освобождение и объединение, начавшейся еще в конце XVIII в.

Содержание

I.....	.0005
II.....	.0151
Примечания.....	0164

**Николай Александрович
Добролюбов
Непостижимая странность
(Из неаполитанской истории)**

*Ах, какой реприманд неожиданный!
«Ревизор»*

Все благомыслящие люди в Европе посвящают теперь свои досуги справедливому изумлению – как это так неаполитанский народ порешил с Бурбонской династией?! Не то удивительно, что восстание произошло: в королевстве Обеих Сицилии восстания ни по чем; всем известно, что Италия, по крайней мере со времен Тарквиния Гордого, всегда была страной заговоров, тайных обществ и тому подобных ужасов...{1} Надобно же что-нибудь делать заговорщикам – вот они и пошаливают; и там уж все к этому привыкли, так точно, как у нас в старые годы ямщики были приучены к тому, что «пошаливали» известные люди на больших дорогах. Известно, что при Фердинанде II, например, для знаменитого начальника полиции Делькаретто{2} составляло немалое удовольствие – следить втихомолку за постепенным развитием заговоров, в которых принимали участие его агенты, дожидаться, пока австрийская полиция получит неопределенные сведения о заговоре и с испугом уведомит о нем неаполи-

танское правительство, – и потом накрыть заговорщиков и доказать австрийцам, что они в этих делах ничего не смыслят. Все подобные шалости оканчивались обыкновенно ко всеобщему удовольствию, домашним образом, и законное правительство нимало оттого не страдало. Поэтому и в нынешнем году, когда началось восстание в Сицилии{3}, благомыслящие люди над ним смеялись; когда Гарибальди явился в Палермо{4}, над его дерзостью тоже подсмеивались. Когда Сицилия была очищена от королевских войск и Гарибальди готовился перенести войну на материк Италии, легитимисты потирали руки, приговаривая не без язвительности: «Милости просим! вот теперь-то мы и посмотрим вашу храбрость, благородный кондотьери!» {5} Даже когда он появился в Калабрии{6}, и тут благоразумные люди хотели выразить полное пренебрежение к его предприятию, но, к сожалению, – не успели: Гарибальди так быстро добрался до Неаполя, что за ним не поспело даже перо Александра Дюма, бесспорно величайшего борзописца нашего времени{7}. Зато благомыслящие граждане с из-

бытком вознаградили себя, когда защита Капуя обещала обратиться во что-то серьезное: они положительно объявили, что Франциск II только по великодушию удалился из Неаполя, чтобы не подвергать свою столицу ужасам войны{8}, но что он отстаивает свои права и что народ, опомнившись от своего безумия, повсюду уже призывает законное правительство. И вдруг – все надежды рушатся: на этот раз восстание оканчивается совсем не так, как обыкновенно; оно принимает нестерпимо серьезный характер, такой серьезный, что даже политика Кавура, при всей своей трусости, решается открыто вмешаться в дело...{9} А тут является еще новое изобретение – suffrage universel;[1] 1300000 голосов против 10 000 определяет присоединение к Пьемонту;{10} последний из Бурбонов истощается в последних воззваниях к меттерниховским трактатам{11} и к верноподданническим чувствам своего народа; но ничто не помогает, он теряет Капую и видит себя в необходимости оставить свое последнее убежище, свою милую Гаэту, 12 лет тому назад воспринявшую в свои стены святейшего отца и счастливую

столькими благородными воспоминаниями... {12} «Шаривари» и «Кладдерадач» изо всех сил издеваются над проницательностью благомыслящих людей {13}, и они уже ничего не находят лучшего, как сказать, что это англичанин нагадил... {14} Конечно, читатели, англичанин – такой человек, что всюду нос сует и везде гадит по возможности; но если вы припомните единодушные отзывы всей европейской прессы о неаполитанцах, то согласитесь, что, по всем видимостям, это был такой народ, которого и изгадить-то не было никакого средства. Кто и как мог дойти до того, чтоб развратить его до такой степени? – это вопрос чрезвычайно курьезный. Конечно, он практического значения, может быть, и не имеет, и вы скажете, что не стоит им теперь и заниматься, когда дело порешено окончательно. Но что прикажете делать, если «Современник» страдает некоторой слабостью упражняться на поприще мышления почтенного Кифы Мокиевича! {15} Он печатает стихи на взятие Парижа, если бы оно случилось (хотя всякий знает, что оно случиться не может), делает невозможные выкладки относительно

выкупа и сельской общины, толкует об антропологическом принципе в философии{16} и т. п. Конечно, все это непрактично и бесплодно; но что же делать? Надо с этим примириться, хотя в уважение того, что в «Современнике» же печатаются иногда капитальные труды вроде, например, «Поземельного кредита» г. Безобразова{17}. Притом же известно, что кто хочет практичности, дельности, кто желает всегда быть на высоте самых насущных и настоятельных требований общественной жизни, тот должен читать «Русский вестник»; там он найдет и прекрасные письма г. Молинари о русском обществе, и мысли г. Герсеванова «о жалованье предводителям дворянства», и статьи об устройстве черкесов, обитающих на берегу Черного моря, и заметки г. Сальникова о паспортах{18}, и тьму заметок по вопросам еще более капитальным. «Современник», как всякому понятно, преклоняется пред мудростью «Вестника» и ограничивает свои претензии гораздо более скромную ролью: занимать иногда досужее любопытство праздного читателя какими-либо курьезными размышлениями. Помните, как в одной

комедии Островского Устенька или Капочка предлагает для развлечения общества поддерживать занимательный разговор о том, «что лучше – ждать и не дождаться или иметь и потерять»?{19} Так и мы теперь для вашего развлечения, читатель, задаемся вопросом: что за странность такая, что неаполитанский народ обманул самые справедливые надежды всех благомыслящих людей? Где объяснение этой странности?..

Надеемся, что мы не снискали еще права на особенное благоговение читателей перед нашими мнениями и потому можем, не опасаясь никого повергнуть в горькое разочарование, признаться, что решить заданного вопроса мы не умеем. Но зато мы обещаем добросовестно передать читателям мнение благомыслящих людей, имевших всю возможность знать положение дел в Неаполе. На эти мнения мы и просим обратить внимание, постоянно имея в виду, что мы собственного мнения на этот счет не имеем[2]. Чтобы сказать что-нибудь положительное о причине странной неожиданности, поразившей Неаполь, надо бы знать народ неаполитанский;

а мы его не знаем, да и кто его знает? Уж конечно, не иностранные туристы, рассказывающие бог знает что и о народе и о правительстве; конечно, и не журналисты, печатающие об иных странах такие корреспонденции, что, пожалуй, им и любой турист мог бы позавидовать... На мнения и рассказы таких людей положиться нельзя, тем более что, по уверению весьма почтенных людей, неаполитанский народ чрезвычайно сдержан, недоверчив и не любит высказываться пред чужими. Вот что говорит, например, виконт Анатолий Лемерсье в начале брошюры, изданной им в начале нынешнего года: «Несмотря на частные сношения Неаполя с Францией, несмотря на легкость сообщений, менее чем в два дня переносящих вас из Марселя в столицу королевства Обеих Сицилий, редкий народ так мало известен французам, как неаполитанцы. Правда, туристы печатают множество рассказов о своих путевых впечатлениях, в картинах и гравюрах воспроизводятся во всех видах местные пейзажи и костюмы, журналисты не упускают случая обсудить по-своему — и положение дел, и людей, и политику коро-

левства; но неаполитанцев нельзя узнать ни по путевым впечатлениям, ни по рисункам артистов, ни по журнальным оценкам; нужно много времени, много случаев и средств, чтобы добраться до истины относительно этого народа, который при легком наблюдении всегда останется непостижимым. Нужен постоянный и долгий навык, для того чтобы, среди обдуманного притворства, открыть истинное состояние этого народа. Писатели всех стран в продолжение стольких лет клеветали на Неаполь, что неаполитанец теперь питает крайнее недоверие к иностранцам. Только с большим трудом поэтому можно достигнуть до открытия истины; и если особенные благоприятные обстоятельства не помогут вам, вы никогда в этом не успеете»[3].

Слова почтенного виконта мы привели затем, чтобы оправдать наше собственное незнание народа неаполитанского. Но мы не можем утаить, что виконт написал их с целью гораздо более благородною: он хотел доказать, что не следует верить писателям, уверяющим, будто в неаполитанцах шевелится любовь к свободе и недовольство их положением.

нием{20}. Действительно, были и такие писатели; но все они заражены были, как оказывается, духом партий и не имели ни тени того бесстрастия, которое, если припомнят читатели, считает первым долгом публициста г. Чичерин[4]. К счастью, количество таких писателей невелико. Вообще же относительно Италии давно принято мнение людей почтенных, бесстрастно исследовавших род человеческий и распределивших разным племенам те или другие способности: французам – остроумие, славянам – гостеприимство, англичанам – практичность и т. д., и решивших, кто к чему способен в истории. Так, известно, например, что немцы должны вырабатывать теоретические начала общественной жизни, а французы пускать их в ход на практике; известно, что мексиканцы должны производить в год столько же революций, сколько г. Семевский пишет исторических исследований {21}, а австрийцы время от времени перемещать режим, подобно «Русскому инвалиду»; {22} известно, что славяне лишены инициативы и потому должны играть великую роль в будущем, как представители эклектической

народности[5], и пр. и пр. В этой международной табели о рангах положено, что итальянцы вообще – народ ленивый, изнеженный, лишенный всякой стойкости, неспособный к самостоятельной политической жизни и не имеющий ни малейшего поползновения к гражданской свободе. Только бы не мешали его «ничегонеделанью», итальянец больше ничего не желает; своим *farniente*[6] он не жертвует ни для какого благополучия. По временам он разгорячится (нельзя же и без этого: южный житель, стало быть, должен горячиться), но это лишь на минуту: волнение его так же легко успокоивается, как легко приходит. Таково было общее мнение об итальянцах, принятое всеми учеными и добропорядочными людьми. Относительно неаполитанцев прибавляли обыкновенно, что они ленивее и беспечнее всех остальных итальянцев, расслаблены климатом гораздо больше, а страстности имеют меньше, вследствие влияния религии и постоянно соблюдаемого правительственного порядка. Это мнение, за исключением немногих писателей (которых порицаем мы выше), принято было всеми пар-

тиями, как теми, которые защищали неаполитанское правительство, так равно и теми, которые нападали на него. Само собою разумеется, что образ выражения у тех и других был различен и даже в некоторой степени противоположен: одни, например, хвалили кротость и почтительность народа, другие сожалели о его унижении и рабских свойствах характера; одни говорили, что он доволен малым и возлагает упование во всем на тех, кто им управляет; а другие выражались, что он невежествен, лишен лучших и возвышеннейших порывов души, потерял сознание собственного достоинства, и т. п. Но лучше приведем несколько отзывов из разных книжек об Италии, которыми теперь наводнены все книжные лавки в Европе. Жаль, что не имеем под рукою путевых писем гг. Греча и Пауловича;{23} но все равно, мы дадим вам выдержки из таких книжек, лучше которых едва ли писали что-нибудь наши почтенные соотечественники.

Не подумайте, что мы думаем посмеяться над проницательностью людей, которых цитируем; не подумайте, что мы совершенно от-

рицаем их показания. Мы уже сказали, что не знаем сами неаполитанского народа, следовательно, не имеем права отвергать и осмеивать чужие свидетельства о нем. А согласие противных партий в отзывах о характере неаполитанском дает им большую гарантию достоверности. Но тем изумительнее опровержение, которое против них сделано фактами последнего времени. Послушайте, что повторялось о неаполитанцах в течение десятков лет, и повторялось основательно: можно ли было ожидать такого грустного конца после таких светлых уверений!

Чтобы не начинать слишком издалека, мы возьмем только последнее тридцатилетие{24}, которое, как известно, весьма много способствовало к утверждению в Неаполе характера бездеятельности и равнодушия к политической жизни. До восшествия на престол Фердинанда II неаполитанцы могли считаться народом, имеющим те же наклонности и требования в политике, как и другие народы Европы. Вот почему Луи-Филипп вскоре по своем воцарении писал к Фердинанду, уговаривая его сделать некоторые уступки правам народ-

ным. «Мы живем, – писал Луи-Филипп, – в переходную эпоху, когда часто нужно бывает уступить кое-что, чтобы не отняли у нас всего. Признаки брожения так ясны и сильны в Италии, что необходимо ожидать взрыва, более или менее близкого, смотря по тому, ускорят или замедлят его меры князя Меттерниха, слишком уже крутые. Ваше величество будете увлечены потоком, если вы вовремя не делаете своего выбора». Фердинанд отвечал письмом, которого многие фразы сделались знамениты: тут-то он делал признания, что «свобода гибельна для фамилии Бурбонов», «что они не нынешнего века», что он «преклоняется» пред идеями, «которые признала верными и спасительными многолетняя опытность Меттерниха», и пр.{25}. Тут же находилось и свидетельство о неспособности народа к гражданской самостоятельности, свидетельство едва ли не самое важное и положительное из всех, какие мы приведем далее. «Мой народ повинуется силе и склоняется под ней (*se courbe*), – писал он, – но горе, если он вздумал бы выпрямиться под влиянием этих мечтаний, которые так хороши в рас-

суждениях философов и невозможны на практике! С божьей помощью я дам моему народу благосостояние и честное управление, на которое он имеет право; но я буду королем, буду им один и всегда... Мой народ не имеет надобности мыслить: я забочусь о его благоденствии и достоинстве»[7].

Выражаясь таким образом о своем народе, Фердинанд должен был хорошо знать его характер и быть вполне уверенным в истине своих понятий о нем. И мы видим, что уверенность эта никогда не покидала его: все его царствование служило осуществлением принципов, высказанных в приведенных нами строках.

К некоторым фактам этого царствования мы еще возвратимся; а теперь, после свидетельства самого короля, приведем несколько отзывов всех партий о неаполитанском народе. Возьмем ряд известий за последние десять лет.

В 1851 году лорд Глэдстон напечатал знаменитые свои письма о неаполитанском правительстве{26}. Все в них было проникнуто сочувствием к страданиям народа и энергиче-

ским негодованием против правительства Обеих Сицилии. Письма эти произвели полемику, вследствие которой лорд Глэдстон издал новую брошюру «Examination»[8], пересмотр некоторых фактов, упомянутых им прежде и оспаривавшихся защитниками Фердинанда{27}. В этой-то брошюре пришлось лорду Глэдстону высказаться и о самом народе неаполитанском. Вот его слова: *«Во всей Европе нельзя найти народа, более кроткого, преданного и послушливого, как народ неаполитанский»*[9]. Подобное же понятие о народе видно и в самых письмах Глэдстона.

Один из самых яростных антагонистов лорда Глэдстона, француз Гондон, один из бывших редакторов газеты «L'Univers»{28}, написал несколько книг в защиту бурбонского правительства в Неаполе и в одной из них в 1855 году, говоря о разных либеральных претензиях, утверждает самым решительным образом невозможность и ненужность конституции для неаполитанского народа. Между прочим, вот что он пишет:

Трудно, может быть, не зная страны, составить себе отчетливое убежде-

ние относительно невозможности организовать представительное правление в королевстве Обеих Сицилии; но всякий добросовестный человек, который захочет серьезно вникнуть в дело, непременно убедится в этой невозможности.

Низшие классы во всем королевстве исполнены энтузиазма к своему правительству и вполне довольны своим положением; они никогда и не помышляли о приобретении того, что называют политическими правами. Все, что ни говорила и ни писала против этого мнимая парламентская партия, – все это ложно в высшей степени. Народ неаполитанский верует в своего короля, ибо знает, что Фердинанд верует в бога и что в своей просвещенной совести он понимает и исполняет обязанности католического монарха в отношении к народу, над которым он царствует. Какого еще более верного ручательства может религиозный народ желать от своего повелителя? Какая писанная конституция может иметь для совести короля такое значение, как законы религии? Все политические

беспорядки, волновавшие Европу, не происходили ли главным образом оттого, что новейшая политика оставила в стороне религию, желая разрешить задачу своего запутанного и ненормального положения? Но в таком королевстве, как Неаполитанское, где король и подданные одушевлены единою верою и единым желанием добра, – все вопросы, неразрешимо запутанные в других местах, находят себе разрешение самое простое и легкое. Народ неаполитанский, то есть масса населения, не желает ничего лучшего, как оставаться под тем же управлением короля, так достойно восседающего на троне Обеих Сицилий. Народ прямо и вполне рассчитывает на него во всем, что касается национальных интересов и улучшений, какие возможны в его участи. Двадцатипятилетнее царствование достаточно объясняет и оправдывает эту доверенность!

Кто же, при нежелании народа, может желать в Неаполе новых опытов этого представительного правления, которым кичится Англия и которое

мы знаем по печальным опытам Франции? Конечно, уж не аристократия! Надо очень худо знать ее, чтобы предполагать, что ее члены (отличные люди, впрочем, весьма преданные королю) достаточно воспитаны для того, чтобы заседать в сенате или в законодательном корпусе. Вообще – плохую услугу оказал бы им тот, кто захотел бы превратить их в законодателей... Нет, уж лучше оставить их служить мечом королю и приносить пользу отечеству бесчисленными способами, которыми могут располагать умные и богатые аристократы!.. Есть, правда, разряд людей, который с удовольствием толкует о конституции: это – часть буржуазии, преимущественно адвокаты и медики, которые, как мы видели, и во Франции и в Пьемонте выказывают особенную жадность к политическим реформам и особенный энтузиазм к парламентскому правлению, ибо они умеют извлекать из него свои выгоды[10]. Но в Неаполе более чем где-нибудь этот класс людей потерял свой престиж и никому не внушает доверия. Они со-

ставляют здесь маленькую секту, которой главою до сих пор считается Поэрио. К великому счастью народа, размеры этой секты делают ее вовсе не опасною. Ее составляют неверующие философы и революционные теоретики, вроде тех, которые вызвали недавние ужасы во Франции{29}. Это ничтожная частичка среднего класса, далеко, впрочем, не так сильная, как во Франции, – одна только и питает нелепые мечты, которых осуществления – увы! – ей но суждено увидеть!

И каким образом правительство с прениями и публичностью могло бы быть введено у народа, который, к счастью для него, не получил от своей истории так называемого политического воспитания? Да, ему не дано этого воспитания, за которое другие народы заплатились так дорого и которое, однако же, все-таки не помогло им удержать у себя эту форму правления... Притом же не нужно забывать народного темперамента и характера. Известно, что такое представляли в Париже некоторые заседания республи-

канские; в Неаполе парламентские рассуждения не замедлили бы произвести беспорядки гораздо более ужасные[11].

Свидетельство г. Жюля Гондона, может быть, не удовлетворит читателя: ясно, скажут нам, что г. Гондон один из самых завзятых католиков и в политическом отношении человек, что называется, ретроградный. Пожалуй, думайте о нем как хотите: мы считаем нужным заметить только, что г. Гондон сам путешествовал по неаполитанским владениям, имел там сношения с лицами высокопоставленными, обласкан был иезуитами, которые, как известно, отлично знают всегда душу народа, и специально занимался бурбонско-неаполитанским вопросом в течение многих лет. Впрочем, мы имеем и другие свидетельства, несколько в другом тоне, но решительно такие же в сущности. Например, не хотите ли прочесть размышления аббата Мишона? Не пугайтесь имени аббата: это аббат весьма либеральный; довольно сказать, что года четыре назад он напечатал брошюру, в которой отсылал папу в Иерусалим, чтобы он не мешал ходу дел в Италии. Брошюра заслужила

несколько похвальных слов от Манина{30} и аббат в предисловии к своей книге не боится похвалиться его одобрением. В отношении к Бурбонам аббат нимало не куртизанит;{31} над чудом святого Дженаро{32} подсмеивается. А между тем относительно политического воспитания народа неаполитанского он говорит вещи столько же отчаянные, как и г. Гондон. Правда, аббат Мишон уверяет, что и аристократы, сколько-нибудь просвещенные, тоже питают – если не либеральные проекты, то по крайней мере недовольство. Но он сознается, что число их крайне ограничено. Относительно же народа вот что он пишет:

Политическое воспитание низших классов в Неаполе ушло не дальше того, как в глуши нашей Бретани. То, что называется собственно народом, то есть люди нужды и работы, – все они вполне преданы предрассудкам и привычкам, соединенным с абсолютизмом. Они не понимают, что такое политическая свобода, не имеют понятия даже и об улучшениях общественных. Это вол, который не может есть в свое удовольствие, если не чувствует

на себе ярма; или, употребим сравнение менее горькое, это раб, привыкший к своей ежедневной работе и не мечтающий о свободной жизни, о праве располагать самим собой, потому что теперь господин заботится о его пище и одежде, а человек свободный должен думать о них сам.

Во Франции в некоторых провинциях народ сам, хотя призванный к покорности властям, каковы бы они ни были, представляет себе, однако же, известный идеал свободы. Он понимает, что могло бы быть лучше; он по инстинкту сознает, что известные общественные формы благоприятны более других для умственного и нравственного развития масс и для материального их благосостояния. Таким образом, у нас есть инстинктивный либерализм в народе, и вот почему он дал свою непреодолимую опору революции, разрушившей режим привилегий и старой монархии; вот почему приветствовал он движение 1830 года, которое остановило неловкие попытки возвратиться старое; вот почему выказал он свою симпатию к республике

1848 года, надеясь от нее улучшений, в которых чувствует нужду.

Ничего подобного у неаполитанского народа. Напротив, он имеет стремления совершенно противоположные. Виноват ли в этом опыт прежних поколений, которые, меняя правителей, постоянно оставались под тем же игом? Или это оппозиция высшим классам, которых интересы, в понятиях народа, противны его собственным? Или это влияние религиозного воспитания, которым духовенство католическое пользовалось, чтобы представлять короля как образ бога на земле, как орган божьей силы в отношении к материальной жизни народа, так как само духовенство есть орган силы божией, духовной жизни?.. Как бы то ни было, но факт несомненен: этот народ любит абсолютную власть своих королей. Он с удовольствием их приветствует, теснится около них, просит у них иллюминаций, парадов, в случае надобности – хлеба. Чтобы быть вполне справедливым, надо сказать, что действительно короли освободили народ от феодального

*ига, разумеется не по расположению к этим людям, вечно осужденным платить и работать, а по необходимости самим освободиться от феодальных пут, которые, связывая народ, стесняли и простор королевской власти. Народ и король боролись вместе против гидры феодализма и вместе победили ее. Теперь нужно еще много времени, чтобы народ ясно понял, что, давая свою поддержку аристократам по рождению, по богатству и образованию, против абсолютизма, он не рискует восстановить вновь гибельную и тяжкую, как прежде, феодальную систему... И покамест это время не пришло, он остается верен старой дружбе и кричит *vive le roi*[12].*

Аббат Мишон подтверждает свой отзыв фактами и затем переходит к вопросу: что же надо сделать, чтобы возвысить состояние народа? (Нынешнее положение он считает очень низким!) Он находит, что всего лучше было бы, если бы правительство Бурбонов шло рука об руку с просвещенными либералами и исподволь подготавливало народ к сознательной политической жизни. «Таков по

крайней мере прямой логический вывод», — замечает он, и из этого вы видите, что идеал аббата вовсе не тот, как у г. Гондона. Он, как видно, полагает, что всякая страна непременно должна стремиться к заведению у себя парламентских прений, которые, как мы видели выше, г. Гондону решительно противны. Мы не будем разбирать разногласия этих почтенных личностей, хотя и находим, что логика г. Гондона гораздо проще аббатовской; нам важно то, что оба признают, с разных точек зрения, совершенное отсутствие политического воспитания у неаполитанского народа. Мало того, аббат Мишон находит, что даже либеральные реформы правительства в Неаполе почти невозможны, и причину этого открывает как в правительственных лицах, так и в настроении самого народа. Он очень об этом сокрушается, видя, что идеал его не удастся; но так как у нас подобных идеалов нет, то мы можем привести слова его совершенно хлуднокровно. Сказавши, что постепенное водворение конституционной формы правления было бы для Неаполя всего лучше, по чистой логике, он продолжает:

Но, зная людей и политические страсти, мы должны понять всю бесконечную трудность подобного преобразования, или, правильнее сказать, этой революции, произведенной в недрах монархии самою же монархией, соглашающеюся отдать себя под опеку конституционных установлений.

Первая трудность, и, может быть, самая страшная, заключается в Бурбонской династии, для которой уступки своему народу всегда кажутся поражением или по крайней мере унижительным ослаблением ее вековых прав. В самом деле, трудно понять, каким образом властелин, уже в полной зрелости своих лет[13], человек, живший, как Фердинанд, в убеждениях и привычках неограниченного владыки, поддерживавший свое повластие, худо ли, хорошо ли, но с постоянной энергией, – трудно понять, каким образом этот человек мог бы вдруг отказаться от убеждений всей своей жизни, от всех привычек самовластия, для того, чтобы подчинять себя трудному испытанию конституционного правления!.. Разве хотят, чтоб он (чего, впрочем,

никто не посмел бы ему посоветовать) вдруг прикинулся либералом и провозгласил: «Пора пришла! Переменным нашу правительственную систему! Вот вам хартия!» Но ведь это нелепо; и можно ли требовать от короля такого малодушия!

С династической точки зрения возможна только одна гипотеза: это – если бы будущий наследник престола воспитан был несколькими людьми, которым дана была бы полная свобода слова, в принципах представительного правления. Он только один, по смерти или вследствие отречения отца, сделавшись королем, мог бы без подлости (*sans bassesse*) применить эти теории и произнести политическую перемену, не подвергаясь за нее упреку ни в позорной трусости, ни в лицемерстве.

Но, кажется, ни настоящий король, ни будущий его наследник не имеют ни малейшего расположения к началам конституционной политики.

И вот вам первая невозможность!
Но это не все. Рядом с прогрессивной партией, за которой, пожалуй, можно считать и большинство в классах об-

разованных, существует партия ретроградная, еще могущественная, имеющая своих важных представителей, свои органы, свои предания. Она тотчас же образует отчаянную и грозную оппозицию либеральным учреждениям; она будет опираться на духовенство, столь многочисленное и влиятельное в Неаполе и столь мало еще доступное либеральным идеям; она воспользовалась бы самой свободой прессы, чтобы вывести из себя короля своими жалобами, подорвать уважение к новым учреждениям, чтобы напугать опасностями, неизбежными, когда порядок и нравственность вверены попечению людей, которые для этой партии, в сущности, те же революционеры...

И вот другая невозможность! [14]

Из этих указаний ясно видно одно: что бурбонское правительство, несмотря на крики его недоброжелателей, было самое соответствующее с потребностями страны и что если кто-нибудь и мог быть им недоволен, зато никто не мог надеяться изменить его. Преследуя свой либеральный идеал, аббат Мишон опла-

кивает безвыходное положение, в котором находился Неаполь, и даже предвещает, что дело кончится худо. Но предвещения его не основаны ни на каких положительных данных, и если они оправдались теперь, так это еще нисколько не доказывает, что они именно и должны были оправдаться. Напротив, из приведенных нами отзывов самого аббата ясно всякому внимательному читателю, что в Неаполе не было ровно никаких элементов, из которых могла бы родиться какая-нибудь опасность для бурбонской системы правительства. Народ обожал Фердинанда, о политической свободе не имел понятия, был совершенно доволен; недовольство проглядывало только в высших классах, да и там была могущественная партия, готовая с остервенением напасть на всякое проявление либерализма. И король и наследник его были воспитаны и утверждены в понятиях, совершенно сообразных с таким положением дел; чего же лучше? Казалось бы, что Франциск II должен царить многие годы так же спокойно и твердо, как его отец, дед и прадед, оставшиеся до конца жизни полными владыками в своем

царстве, несмотря на маленькие невзгоды, к несчастью слишком часто тревожившие каждого из них. А между тем вышло не то... Что же за причина? Уж не пришло ли, в самом деле, то время, о котором мечтает аббат Мишон, — когда народ должен соединить свои интересы с интересами аристократии против абсолютизма? Но нет, напрасно вы будете доискиваться этого замысловатого соединения в неаполитанском движении последних месяцев; вы видите, напротив, что в то время, как народ бежал навстречу Гарибальди и провозглашал Виктора-Эммануила, неаполитанская аристократия продолжала заниматься придворными интригами около Франциска. Да притом само мнение аббата Мишона о том, что народ привязан к своим королям за избавление его от феодального ига и что вследствие того он поддерживает верховную власть против влияния местных магнатов, — это мнение требует подтверждения. Мы, с своей стороны, не видим никакой надобности предполагать в неаполитанском народе такое глубокое посвящение в тайны исторического прогресса, в смысле г. Гизо{33}. Мы более до-

веряем другим свидетельствам, по которым выходит, что неаполитанец природой и положением своим сделан кротким и послушливым и потому уважает всякого, кто выше его, и чем выше, тем больше уважает, — значит, короля должен уважать всех больше, потому что он всех выше, недосягаемо выше. Вот самое простое объяснение общепризнаваемого факта привязанности неаполитанцев к абсолютизму. Объяснение это не придумано нами а priori, а основано тоже на свидетельствах весьма почтенных. Одно из них мы приведем здесь, в уважение того, что оно принадлежит лицу несомненно компетентному, виконту Лемерсье, тому самому, который говорит, что нельзя узнать неаполитанцев без пособия особенно благоприятных, исключительных обстоятельств. Благородный виконт именно находился в этих исключительных обстоятельствах: он долго был при французском посольстве в Неаполе, имел там дела и обширные знакомства, имел доступ к официальным документам разного рода и ко всем учреждениям, куда редко допускаются иностранцы, стало быть, имел все средства узнать истину

в самом ее источнике. Мало того, он, как сам признается, сам сроднился с духом этой страны и только извиняется (в посвящении своей книги князю Алессендриа), что, «как сын своей милой Франции, не мог отрешиться от некоторых либеральных идей, в которых он был воспитан». Заметим, стало быть, что в благородном виконте, против его желания, сидят начала неисправимого либерализма, и постараемся не забыть об этом, читая его отзыв о характере неаполитанцев и о положении страны. Вот как он отзывается о народе:

Дурные инстинкты гордости и зависти вовсе не развиты в неаполитанцах. Исполненные уважения к высшим состояниям, они безропотно принимают общественную иерархию. Нет в Европе народа, которым бы так удобно было управлять, как неаполитанцами, которых постоянно сдерживает религия, делающая их смиренными без низости, и воспитание, научающее их благоговеть пред вещами и людьми, пред которыми благоговели их отцы. Нам не поверят, если мы скажем, что никогда никакой повелитель не был

так любим своим народом, как король неаполитанский, – и между тем это строжайшая истина. Нельзя сказать, чтобы аристократия, буржуазия и народ, каждый по-своему, не позволяли себе многочисленных и часто горьких порицаний; но эти порицания относятся всегда к частностям, и никогда, несмотря на все усилия иностранных революционеров, мысль о низвержении законного владыки не заходила в голову истинных неаполитанцев. Уважение к установленному порядку составляет одну из отличительнейших черт этого народа и дает ему его ярко определенную оригинальность среди других народов Европы. Мы не скажем, что зависть не закрадывалась ни в одну неаполитанскую душу, но мы утверждаем, что ее не существует там у одного класса против другого.

Несмотря на введение французского гражданского кодекса{34}, несмотря на почти шестидесятилетнее обращение с этими законами, так быстро уравнивающими все состояния, неаполитанский сеньор хотя и сделался менее богатым, чем прежде, но остался

совершенно так же уважаем и так же могуществен. Верный старинным обычаям, народ довольствуется малым; можно сказать, что он вовсе не имеет нужд в этой стране, где живут на открытом воздухе и почти не едят; он наслаждается благорастворенностью своего климата, красотой своего залива, прелестью своего беззаботного существования и нимало не желает изменения своего общественного положения. Напрасно толковали добрым неаполитанским простолюдинам о бедствиях и нуждах рабочих классов: они не хотели ни понимать, ни верить, потому что сами никогда не чувствовали ничего подобного. Конечно, если посмотреть на внешность неаполитанского простонародья, если войти в их жилища, то легко подумать, что нет в мире страны, где бы нищета была ужаснее. Они мало заботятся об своей личности и о своих домах, одеты часто в лохмотья, жилища их наполнены грязью и разными гадами, самые грязные домашние животные обитают вместе с семьей простолюдина. Сравнивая эту наруж-

ность с жизнью наших парижских работников, тотчас же, разумеется, принимаются сожалеть об участи несчастных обитателей Неаполя и превозносить достоинства нашей цивилизации. Но тут-то и впадают в самую грубую ошибку: счастье чаще обитает в жалком приюте неаполитанца, нежели в почти изящном жилище парижанина. В самом деле – у одного встречаем мы веру, которая услаждает ему все горести, и довольство своим жребием, которое делает жизнь его счастливою; у другого, напротив, совесть возмущена нечестьем или по крайней мере индифферентностью, а стремление к обогащению и зависть к тем, кто чем-нибудь владеет, поселяют недовольство и ненависть в его сердце...

Совершенная ложь, будто народ неаполитанский страдает и жалуется на свое состояние общественное; но еще более ложно – уверять, будто он с трудом выносит свое положение политическое. Народ сумел противостоять странствующим трупам возмутителей, являвшихся к нему пропове-

довать против богатых, духовенства и дворянства; не больше успеха имели эти апостолы зла и в стараниях своих уверить народ, что он живет под железным скипетром тирана. Понятно, почему простолюдin в королевстве Обеих Сицилии чрезвычайно мало занят политикою и охотно предается руководству своего приходского священника или старого сеньора. Он знает, что платит подати очень небольшие, видит, что дороги его содержатся хорошо, что конскрипция{35} не так ужасна, как он опасался; этого ему довольно для того, чтобы не желать перемен, из которых еще неизвестно что выйдет...

Средний класс, правда, менее доволен, и многие в нем желают политической свободы; но надо заметить, что большая часть из них не простирает своих видов дальше приобретения коммунальных прав, которые убиты в Неаполе введением французской цивилизации. И нельзя не сознаться, что для народа, так мало приготовленного к политическим правам, приобретение их было бы скорее бедствием, нежели

благом. Разве мы не видели, что происходило в 1848 году, когда Фердинанд, одним разом опередивши и статут сардинский и новые постановления папские, издал хартию, составленную почти совершенно по хартии 1830 года?{36} По своей неопытности в конституционной игре парламент оказался неспособным вотировать ни одного закона и пал среди волнения, которое вызвал, сам того не желая и не ведая...[15]

Переходя к аристократии, виконт Лемерсье объявляет, что она, несмотря на все уважение, которым пользуется, не составляет ныне корпорации в королевстве и что, во всяком случае, – если ее можно упрекнуть в чем-нибудь, то разве в излишнем удалении от дел, а уж никак не в либеральных замыслах. Очерк свой он заключает следующими решительными строками: «Пусть знает Европа, что недовольство и нерасположение неаполитанцев к своему правительству суть нелепые басни и что наилучшая политика для других держав относительно Неаполя должна состоять в том, чтобы поддерживать и укреплять ею

правительство, а не ослаблять его и не подкапывать».

Не увлекся ли благородный виконт чувствами преданности к Бурбонам и дружбою к высоким придворным и духовным особам, с которыми постоянно был близок, как видно из его брошюры? Не обманулся ли он их показаниями, не представил ли вещи умышленно в ложном свете? Но нет, мы не имеем никакого права подозревать что-нибудь подобное. Все, что мы можем предполагать не без основания, это одно: что виконт, по своему либерализму, в котором сам признается, несколько преувеличил еще значение либеральных тенденций в Неаполе. Впрочем, если нам нужно беспристрастия, ничем не заподозренного, то обратимся к туристам: их упрекают часто в легкомыслии, но редко кто из них подвергался упреку в умышленном искажении фактов. Возьмем же первых попавшихся: все говорят одно и то же.

«Мы были очень изумлены, – пишет один из них в самом начале своих заметок, – найдя в Неаполе совсем противное тому, что воображали по журнальным тревогам. Так

это-то террор, который, как нас уверяли, свирепствует в королевстве Обеих Сицилии! Да помилуйте, нам бы ничего не надо было лучше, если бы народ во Франции был так спокоен и благополучен!.. Дело в том, что народ здесь не томится стремлением обогатиться и завистью, не ищет политических прав, а умеет наслаждаться тем, что в избытке дает ему природа. Лаццарони валяются на улицах и преспокойно смотрят на блестящие экипажи, подвозящие богачей и знатных к Cafe de l'Europe; они совершенно довольны своими лохмотьями, плодами и водой и не чувствуют ни малейшей надобности в перемене своей участи»[16].

Эти слова брошены мимоходом; а вот отзыв, служащий результатом долгих размышлений автора, специально писавшего о неаполитанцах, г. Теодора Верна:

Что касается собственно Неаполя, нельзя сомневаться в том, что климат его способствовал расслаблению и упадку нравственной силы народа. Чтобы убедиться в расслабляющем свойстве этого климата, достаточно

прожить в нем несколько времени... Правда, в итальянском климате образовались древние римляне; правда, в Неаполитанском королевстве процветали сикулы, самниты, норманны; {37} но эти великие воспоминания только еще рельефнее дают видеть, до какой степени эти воинственные и сильные племена выродились в нынешних изнеженных и лишенных всякой энергии обитателях.

Другая причина уничтожения этой страны заключается в долговременном гнете, под которым она страдала и еще страдает до сих пор. Этот гнет сделал неаполитанцев неспособными к возвышенным стремлениям и погасил в них даже самые первые понятия о свободе и о долге. Для того чтобы дать ход натуральным способностям и создать национальную доблесть, нужно было, чтобы каждый находил себе широкую дорогу, по которой мог бы он идти с сознанием своей цели и своего достоинства. Но бурбонское правительство по своим преданиям и привычкам вовсе не было приспособлено к такому воспитанию народа. Те-

перь все кричат, что спасением для страны может служить лишь уничтожение существующих постановлений. Но, по нашему мнению, много преувеличивают значение этого общественного лекарства; разве мы не видим, что неаполитанские постановления сами по себе очень хороши, а между тем приносят плоды, полные отравы?.. Может быть, революция была бы действительнее простой перемены системы? Но печальные опыты 1848 года доказали всем еще раз, что всякая новая революция только сильнее стягивает цепи Италии, потому что после каждого кризиса на сцене остаются те же элементы, только обессиленные более прежнего[17].

Ставя, таким образом, Италию, и Неаполь особенно, в безвыходное положение, г. Верн находит для нее одно спасение: отказаться от католицизма, чтобы принять реформу! Из этого видно, до какой степени безнадежным казалось положение неаполитанских дел французскому туристу, посетившему Неаполь в прошлом году...

Г-н Шарль де ла Варенн в 1858 году так от-

зывался о правительстве неаполитанском: «Можно сказать, что в Неаполе господствует восточный деспотизм, основанный на союзе двора с простым народом и половиною буржуазии, готовою все сделать и все допустить для сохранения тех положений, к которым она привыкла. Этот союз направлен преимущественно против высших классов, питающих либеральные тенденции, – за исключением, разумеется, некоторых лиц, состоящих при дворе»[18].

Может быть, вы не вполне доверяете французским отзывам? Известно, что у нас привыкли считать французов народом легкомысленным. Но мы приводили выше свидетельство лорда Глэдстона; можем, если хотите, привести отзыв г. Теодора Мунта, немца: вы знаете, что немцы народ основательный.

Г-н Мунт, бывший в Неаполе в начале нынешнего года, замечает, что положение дел в Неаполе не обещает ничего хорошего, но что изменить его едва ли возможно, так как народ и духовенство служат постоянной поддержкой бурбонского правительства. «Простой народ в Неаполе, – говорит он, – не хочет

и не знает политической свободы; он совершенно не понял бы того, кто бы стал обещать ему государственные и общественные улучшения, чтобы чрез то улучшить состояние самого народа. Король и народ в Неаполе держатся крепко друг за друга, потому что они давно уже вместе боролись против общего врага – могущества феодалов, бывших опасными для них обоих, и потом – против дворянства, образованности и самостоятельности буржуазии. Таким образом, абсолютная власть, поддерживаемая лаццарони, составляет препятствие всякому высшему развитию страны. В дворянской и прогрессивной части буржуазии существуют либеральные наклоности; но у них, кажется, никогда не было никакой определенной программы. Это либерализм надежд и желаний, который охотно примирился бы со всяким правительством, лишь бы оно не было так безнравственно и позорно, как нынешнее. В теории этот либерализм имеет много приверженцев в образованных классах, но сомнительно, чтоб он встретил серьезную поддержку в случае действительного взрыва. Самая трудная задача

либерализма в Неаполе состоит в том, чтобы привлечь народ к его делу»[19].

Наконец, можно привести свидетельство самих итальянцев. Довольно вам указать, например, на Монтанелли, который говорит, что есть две Италии: одна – ученых, литераторов, адвокатов, медиков, студентов, и другая – священников, монахов, простого народа, придворных и всех, кому выгодно невежество и суеверие. В разных местностях есть оттенки в отношениях той и другой партии, но в Неаполе Монтанелли, как и другие, признает решительное преобладание последней[20].

Мы размножили наши цитаты, разумеется, отчасти для того, чтобы показать нашу начитанность по неаполитанскому вопросу, но отчасти и с другою, менее тщеславною целью: нам хотелось показать читателю, что за год – за два, даже за несколько месяцев до гарибальдиевского движения никому действительно не приходило в голову, чтобы бурбонское правительство и его система могли быть так легко уничтожены в Неаполе. Многие у нас слышаны о том, что итальянцы вообще ужасные головорезы, и потому революции на

Апеннинском полуострове считаются чем-то весьма обыкновенным: народ, дескать, такой! Но из совокупности свидетельств всех партий выходит, что неаполитанцы по крайней мере – вовсе не были таким народом. Общий вывод из всех отзывов должен быть таков: народ в Неаполе был вполне равнодушен ко всем либеральным тенденциям и скорее расположен был всеми силами защищать Бурбонов, нежели восставать против них; духовенство, чрезвычайно многочисленное и пользующееся огромным влиянием в Неаполе, постоянно действовало в пользу существующей системы; король был весьма почитаем народом и, кроме того, опирался на сильную армию, которой посвящал свое особенное внимание. Если бывал когда ропот, то лишь против частных распоряжений и второстепенных чиновников. Либеральные стремления обнаруживались лишь в незначительной части среднего сословия; некоторые уверяют, что и в высшем тоже было недовольство, но очень вероятно, что это было в значительной части случаев не более как досада людей, обойденных чином или не умевших попасть

ко двору. По иным, весь неаполитанский либерализм сводится к ничтожной горсти адвокатов и медиков, по другим, он представляется более распространенным; но все согласны, что в либерализме этом не было ничего деятельного, ничего серьезного, даже почти ничего политического: общим и определенным у всех было одно только желание, чтобы как-нибудь дела пошли получше в государстве. Самые смелые надежды в последние годы не простирались далее того, что правительство сделает какие-нибудь уступки соединенным настояниям Англии и Франции{38}. Что же касается до деятельной роли народа, о ней не мечтали самые горячие либералы. Рассказывают (может быть, и несправедливо), что перед экспедициею Гарибальди несколько человек из самых почтенных патриотов, в числе которых называют Джузеппе Феррари, нарочно отправлялись зондировать расположения неаполитанского населения, и результат их наблюдений был тот, что на неаполитанском материке невозможно было ожидать никакой поддержки делу свободы. За истину этого слуха нельзя ручаться; но он совершенно со-

гласен с тем, что писалось о походе Гарибальди в Неаполь до самой высадки его в Реджо {39}. Не говоря о насмешках легитимистских газет и предостережениях пьемонтских органов Каьуровой партии, вспомним, что сам Виктор Эммануил, на днях так торжественно собравший плоды отваги Гарибальди, в июле месяце писал ему дружеское запрещение идти на Неаполь...{40} До того все уверены были в прочности бурбонского правительства и в невозможности привлечь неаполитанский народ к делу итальянского единства и национальной свободы!

Против этого мнения, равно принятого и врагами и защитниками бурбонского правительства, могут, по-видимому, свидетельствовать беспрестанные восстания и заговоры в королевстве Обеих Сицилии. Действительно, в 200 лет, прошедших со времени Мазаниелло {41}, было, конечно, по крайней мере 100 больших и малых волнений в Неаполе и Сицилии. Если взять одно царствование Фердинанда, так и тут попытки против его правления надо считать десятками.

В 1830 году, 8 ноября, взошел на престол

Фердинанд II. Немедленно по его воцарении, по сведениям полиции, оказалось, что в королевстве до 800 000 карбонариев, несмотря на страшные преследования их в предшествующие царствования. Вслед за тем деятельность либералов обнаружилась громкими криками о конституции, и для ее получения устроен был в 1831 году даже заговор, которым заправлял министр полиции Интонтти. Заговор этот открыт был благодаря зоркости австрийских тайных агентов.

В течение 1833 года было открыто, один за другим, три заговора: один Нирико, другой Россароля и Романе, третий Леопарди и Иоэрио – все в конституционном смысле, все в довольно широких размерах и все открытые пред самым моментом исполнения. О последнем донос сделан был одним из участников, Орацио Мацца, который потом был начальником полиции в Неаполе и прославился своими бесчинствами.

В 1834 году, по поводу путешествия короля, обнаружилось неудовольствия в Сицилии.

В 1837 году, во время холеры, произошли частные восстания в Абрुццах и в Калабрии.

В то же время вспыхнуло восстание в Сицилии: в Катапу принуждены были послать войска.

В 1839 году началось движение в Чивита ди Пенна.

В 1842 году произошла попытка в Аквиле.

В 1844 году открыт заговор в Козенце.

В том же году – попытка братьев Бандьера с семью товарищами{42}.

В 1846 году обнародован мятежный «Протест народа Обеих Сицилии», написанный Сеттембрини{43}, но послуживший к арестациям и ссылкам и множества других подозревавшихся в либерализме.

В 1847 году произошло волнение в Реджо и в Мессине,

В 1848 году – общая революция, в несколько приемов.

В 1849 году – продолжение революции в Сицилии.

В 1850 году – новая попытка восстания в Палермо.

В 1851 году – продолжалось укрощение мятежных сицилианцев; считают, что с июля 1848 года до августа 1851 в Сицилии произве-

дено около 1600 казней политических преступников.

В 1856 году – волнения в Козенце и в то же время в Сицилии, в Чефалу.

В конце того же года – покушение Агези-лая Милано на жизнь Фердинанда.

В 1857 году – экспедиция Пизакане{44}.

В 1858 году – дело Луиджи Пеллегрини и его сообщников.

В 1859 году – возмущение в швейцарских полках и потом начало волнений в Сицилии, которые разразились наконец революциею четвертого апреля 1860 года, имевшею такое решительное продолжение во всем королевстве.

В этом перечне мы, конечно, еще пропустили довольно много мелких политических процессов, которые в Неаполе никогда не переводились, и много историй, раздутых полициею или интригами придворных партий. Так, например, в конце царствования Фердинанда, в сентябре 1858 года, по поводу какого-то найденного трупа с подозрительными бумагами производилось дело, по которому арестовало было 1200 человек; пред самой

смертью Фердинанда готовы были вспыхнуть беспорядки по интригам камариллы, желавшей доставить престол графу Трани. Такими явлениями полна вся неаполитанская история не только во все годы, но во всякое время года, всякий день, если хотите.

Все это, по-видимому, служит опровержением общих отзывов о том, что народ неаполитанский чрезвычайно спокоен и доволен, что он не стремится к изменению своего положения и к приобретению политических прав. Но это только по-видимому: в самом же деле, при внимательном взгляде, мы находим, что все частные восстания, происходившие в Неаполе, только могли убеждать в ничтожности и решительной несостоятельности партий, стремившихся к изменению существующего порядка вещей. Народ не только не поддерживал этих партий, но еще на них же опрокидывался. Так, в революцию 1848 года замечен был всеми факт, на который, между прочим, ссылается аббат Мишон. «Фердинанд, видя, что либералы образованных классов сильно пристают к нему, ничего не нашел лучшего для себя, как обратиться к

черни. Он вооружил из нее десять тысяч, которые ринулись на Неаполь, вторгались в дома, заставляли трепетать всех и предавались всем возможным буйствам и насилиям...»[21] Даже те из народа, которые присоединились к восстанию, вовсе не понимали, что и зачем они делают. Г-н Гондон, опровергая Глэдстона и доказывая, что народ в Неаполе не только не желает, но и знать не хочет конституции, приводит следующий факт. «В провинциях и даже в самом Неаполе, когда возмутители кричали: «viva la costituzione!»[22] – в народе слышались насмешливые крики: «viva la costruzione! viva la costipazione! viva la contrizione!»[23] Вслед за усмирением волнений к королю, по свидетельству того же г. Гондона и других благонамеренных людей, посыпались адреса, говорившие, что не нужно созывать нового парламента; и большая часть провинциальных советов выразила желание, чтоб конституция была уничтожена. Писатели либеральной партии доказывают, что адреса были вытребованы правительством и что советы ничего не значили после победы короля над оппозицией в печальный

день 15 мая{45}. Это, конечно, справедливо; но дело от того нисколько не изменяется в своей сущности: значит, все-таки элементы свободы так были ничтожны в Неаполе, что не могли противостоять абсолютизму Фердинанда даже в 1848, во время всеобщего волнения и торжества революционных замыслов во всей Западной Европе. Беспристрастный историк итальянского движения 1848 года Перренс указывает много фактов, объясняющих это торжество абсолютизма и доказывающих, что народ, духовенство и армия действительно не были в Неаполе расположены к поддержке новых, конституционных начал правления. «3 августа толпы солдат, сборов {46} и лаццарони бегали по городу с криками: «Долой статут! Да здравствует король!» – 5 сентября депутаты, направляясь в палату, были оскорбляемы на улицах». В этот же день один священник Санта-Луцианской церкви воспламенил толпу против либералов, как врагов короля и бога, и повел против них вагги народа с криками: «Долой свободу! Да здравствует король!»[24]

Довольно вспомнить, что уничтожение

неаполитанского парламента в 1849 году было простою полицейскою мерою и что депутаты и вообще либеральные патриоты четыре года содержались в тюрьмах, пока не были осуждены на каторгу, чтобы видеть, как мало действительного участия принимал народ в поддержке революции. Подобные же факты обнаруживались и после: например, в 1857 году в Сапри сельское население решительно напало на отряд инсургентов, бывших под начальством Пизакане, и клерикальные журналы немало кричали тогда по этому случаю о преданности неаполитанцев Бурбонам. Наконец, кто следил за событиями в Неаполе по газетным известиям последних месяцев, тот мог заметить, что и раньше масса неаполитанского народа не очень много изменилась в своих расположениях. В том же Санта-Луцианском приходе, который играл такую роль в сентябре 1848 года, происходило в начале нынешнего сентября тоже волнение по тому поводу, что Санта-Луцианская мадонна плакала об отъезде короля из Неаполя. Реакционные попытки армии и лаццарони против конституции были и в нынешнем году. Даже после

вступления Гарибальди в Неаполь до самого последнего времени не переставали приходить известия о заговорах то там, то здесь, в смысле восстановления Бурбонов. Казалось бы, что невзгода, постигшая Франциска II, не должна считаться серьезною, что его пребывание в Гаэте еще не совсем безнадежно, что народ может возвратиться к нему...

Но все видят, что на этот раз Бурбонская династия в Неаполе получила удар решительный, от которого ей не оправиться. Все видят, что хотя народ неаполитанский и оказался все еще не очень энергичным сподвижником своих освободителей, но встречал их с энтузиазмом и пассивным образом содействовал низвержению абсолютистского правления. Попытки реакции не были уже сильны, как прежде, новые начала восторжествовали прочно...

Что значит такая перемена, и как она могла произойти? Мы видели, что народ неаполитанский по своему характеру вовсе не склонен к политическим шалостям и к ослушанию законной власти. Как бы ни плохо управляли им, он все терпел и прощал. Нуж-

но было много работать над ним, чтобы наконец заставить его провозгласить себя против законной монархии, уже не в отдельных личностях, не в частных выходках, а целой массой населения. Не было ли, в самом деле, этой работы злоумышленников над умами народа в Неаполе, и не дано ли им было слишком много простора для их губительных замыслов? Если бы мы успели открыть это, все бы объяснилось, и странность внезапного падения неаполитанского трона не была бы более странностью. Попробуем, насколько возможно, заглянуть в тайники революционной силы, работавшей в Неаполе в новейшее время.

В Западной Европе проводниками либеральных и революционных идей считаются обыкновенно – религия, воспитание, литература, общественные сходбища, тайные общества. Всем этим пользуются злонамеренные люди для распространения своих идей и для возбуждения народа к восстанию против установленных порядков. Посмотрим же, в каком положении все эти средства революционных замыслов находились в Неаполе.

Религиозные споры много раз служили в разных странах Европы прикрытием политических требований. История Реформации особенно полна такими фактами. Вот почему один писатель, которого приводили мы выше, находит даже, что свобода Италии невозможна, пока протестантство туда не проникнет. «Нравственное первенство Италии, равно как и ее независимость, – говорит он, – погибли так быстро потому, что Италия осталась чуждою реформе»[25]. Г-н Берн рассуждает так с своей точки зрения, а г. Гондон, например, с ужасом и отвращением высказывает опасение, что английская политика в Италии может повести к учреждению там библейских обществ и введению ереси[26]. Взглянем же, во-первых, как силен *еретический* элемент в королевстве Обеих Сицилии. Раскроем хоть статистику Кольба, 1860 года:[27]

Население..... 9 117 000
В том числе – протестантов..... 800
евреев..... 2200
Остальные все – католики.

Оказывается, что опасные элементы «свободного рассуждения» и «чистого евангелия»

вовсе не так сильны в Неаполе, чтобы могли волновать умы народа и направлять его к исканию реформ. Католическая церковь всегда была поборницею авторитетов всякого рода против стремлений кичливого разума человеческого, всегда укрощала гордые страсти и поощряла терпение и смирение. Очевидно, что религиозные влияния в Неаполе должны были всегда действовать самым благоприятным образом для сохранения порядка и покорности Бурбонам.

Но форма вероисповедания сама по себе еще не составляет всего. И католический народ может быть непокорным и буйным, если он холоден к своей религии, если он заражен скептическими началами, столь распространенными в Европе с конца прошлого века. Пример вам – Франция: французы тоже почти все католики, а между тем отношение их к церкви – самое легкомысленное. Поэтому надо знать не то, к какому исповеданию причисляются неаполитанцы, а то, в какой мере проникнуты они духом своей религии. На этот счет мы имеем самые удовлетворительные сведения. Общий отзыв тот, что нет наро-

да, более преданного католицизму, как неаполитанцы. Тон отзывов, разумеется, различается, сообразно личным воззрениям каждого автора: одни сожалеют о суеверии и невежестве народа, другие превозносят его набожность и религиозность. Мы приведем, для большего беспристрастия, свидетельства тех и других.

Из всего, что было писано о религиозности неаполитанцев, нам особенно нравятся красноречивые страницы благочестивого Жюля Гондона, в которых он показывает мелкие недостатки, замечаемые в общественной жизни и в самых постановлениях. Мы считаем необходимым перевести эти страницы.

Неаполь не избег общей участи человеческих обществ, — пишет г. Гондон, — его установления не совсем изъяты от критики; они могли бы, конечно, быть на более высокой степени совершенства. Я должен согласиться, что иностранец, приезжающий в Неаполь, испытывает тотчас же несколько неприятных впечатлений, которые часто имеют большое влияние на его суждение о стране.

Так, не без основания жалуются на

медленность, с которой полиция исполняет все формальности, необходимые для впуска путешественников в страну. Впрочем, это должно быть отнесено только к манере исполнения своих обязанностей низшими чиновниками, потому что, в сущности, меры относительно приезжающих чрезвычайно благоразумны и необходимы для предохранения страны от зол политических, нравственных и даже религиозных, которые могли бы вкрасться в нее извне.

Таможенный осмотр при въезде дает очень грустное понятие о продажности низших чиновников по этой части, которые осматривают, или, лучше сказать, не осматривают, ваш багаж, только и думая о том, чтобы получить от вас что-нибудь.

То же зрелище продажности поражает путешественника, когда он проникает во внутренность страны. В каждом городе, в каждом местечке – не только необходимо представлять свой паспорт, но эта формальность исполняется таким образом, что она кажется не мерою общественной без-

опасности, а просто предлогом вытянуть у путешественников несколько денег.

Надо, однако же, сказать, что эти злоупотребления, повсюду распространённые в Италии, имеют свой корень в обычаях, которые их оправдывают. Но путешественник, приезжающий в чужую страну, обыкновенно не старается поставить себя на точку зрения своих хозяев: он судит обо всем по своим понятиям, сравнивая то, что видит, с постановлениями, обычаями и нравами своих соотечественников... Но какое блестящее вознаграждение за эти неприятности! Едва вы вступите в Неаполь, как перед вами открывается истинный характер обитателей! На каждом шагу восстают перед вами свидетельства религиозной веры. Статуи пресвятой девы или святых украшают все площади. Нет ни одного памятника, пирамиды, фонтана, наверху которого не стояло бы изображение мадонны или почитаемого святого, вызывая прохожих на благочестивые размышления. На углу каждой улицы вы находите нишу, где помеще-

на статуя святого, под покровительство которого отдали себя жители этой улицы. Это нечто вроде маленьких часовен, поддерживаемых с благочестивым тщанием, благолепно украшенных; в течение всей ночи пред ними неугасимо горит лампада. В улицах более длинных число этих ниш увеличивается. Но, что еще более замечательно, – независимо от этих общих выражений благочестия – в каждом магазине, самом богатом, равно как и в самой бедной лавчонке, против входа находится всегда образ св. девы или святого, украшенный цветами, а вечером озаренный свечами. Это – домашние алтари, воздвигаемые в славу высших сил, заменивших в недрах христианской семьи домашних лар, которых почитали язычники!

Эта религиозность физиономии большого города составляет одну из самых поразительных сторон неаполитанской столицы. Я был ею тронут гораздо более, нежели красотой залива, живописностью местоположения, блеском артистических богатств и драгоценнейших коллекций древности.

Свидетельства живой религиозной веры народа, со всех сторон восстающие перед очами, были для меня полнейшим ручательством за него против клевет, которые так упорно и бессовестно расточают на счет этого доброго племени.

Кто вздумал бы приписывать суеверию и невежеству эти внешние знаки народного благочестия, тому стоило бы только, для уничтожения своих сомнений, заняться изучением простых, истинно христианских нравов народа. Достаточно войти в воскресенье или в праздник в церковь, чтобы убедиться в искренности и чистоте религиозных чувств, которые так ярко выражаются на каждом шагу в Неаполе.

Не менее поразительно для иностранца то уважение, которым окружает народ представителей церкви. Благословение неаполитанцев пред служителями божими совершенно напоминает время первобытной церкви Христовой: беспрестанно встречаете вы лица разных сословий, останавливающиеся на улицах пред монахом или священником, чтобы поцеловать у него руку в

знак благоговейного уважения.

Нет, что бы ни говорили апологисты протестантской Англии, – народ, у которого религия образует сердце, очищает и возвышает стремления, не может быть ниже нации, которая понимает религиозную истину лишь под призмю ереси. И если даже смотреть со стороны материального благосостояния (которая одна только и занимает известные умы!), то как не признать, что рабочие классы в Италии, и в Неаполе особенно, несравненно счастливее работников в какой бы то ни было части Соединенного королевства!

Если бы манчестерский или бирмингэмский работник захотел справлять в течение года все религиозные торжества, строго соблюдаемые в Италии, то его семья принуждена была бы умереть с голоду. В Неаполе же, несмотря на чрезвычайно частые праздники, которые, освящая душу, содействуют чрез то и благосостоянию тела, работник удовлетворяет весьма легко всем своим нуждам, с семьею и детьми. Английский работник в обык-

новенных условиях работает больше, питается не лучше, семью свою содержит с большим трудом и доходит до конца года с большим истощением тела, не испытав ни одного из тех нравственных наслаждений, которые католическая религия дает вкушать неаполитанскому простолюдину, находящемуся в тех же условиях. Так широкое значение, предоставленное у католических наций жизни духовной, не только не уменьшает, а, напротив, возвышает материальное благосостояние!
[28]

В этом описании вы видите, правда, только внешнюю сторону – обряды и образа; вы не видите, до какой степени дух христианской религии проник в сердце народа. Г-н Гондон не говорит об этом ни слова, а другие уверяют, что сущность христианства вовсе непонятна для масс и даже для многих из самих духовных лиц. Так, например, у г. Верна находим уверения и факты, доказывающие, что «самая отвратительная безнравственность легко, уживается у неаполитанского простолюдиня с величайшею набожностью». В Ка-

лабрии и Абрुццах непрерывно происходят грабежи, но часть награбленного всегда идет на дела церковные, на украшение икон, статуй и т. п. «Это очень милый способ преклонять небо на милость, делая его своим сообщником!» – восклицает остроумный турист. Само духовенство хлопчет только о том, чтобы народ больше делал приношений на церковь, больше крестился и клал поклоны перед образами, а затем – духовное возвышение народа нимало не интересуется его пастырей. Священники и монахи торгуют исповедью, проповедью, мессами: так, они не дают без денег разрешения на брак, требуют платы за позволение есть скоромное в постные дни, продают четки и частички мощей, молитвы за умерших, находящихся в чистилище, торгуют мессами, собирая деньги с сотни персон, заказывающих службу, и отправляя ее для всех заодно. Наконец, они придумывают явления и чудеса, чтобы привлечь в свои церкви больше народа и, следовательно, больше приношений. Так, например, тотчас после последнего землетрясения в Неаполе публиковалось *avviso sacro* [29], утверждавшее, что город спа-

сен от конечной гибели единственно чудесным заступлением святого Эмидио, и вследствие того приглашавшее народ устремиться в церковь его для принесения ему благодарности. Священники собора св. Дженаро обиделись за своего святого и весьма энергически объявили, что, напротив, дело спасения города принадлежит вовсе не Эмидио и никому другому, а святому Дженаро, который всегда был особенно популярен в Неаполе. Подобного рода разногласие между членами духовенства произошло по поводу вопроса о новом догмате беспорочного зачатия св. девы. Скоттисты, поддерживавшие догмат, опирались, между прочим, на откровение св. Бригитты, которая почти положительно решала вопрос в их пользу. Но, к несчастью, св. Катерина, по уверению томистов, объявила совершенно противное!{47} Подобные разногласия, разумеется, не обходятся без маленького скандала, о котором г. Верн довольно лукаво сожалеет. Вообще же он находит, что у неаполитанцев «живая вера Христова и истинное религиозное чувство превратились в жалкий фетишизм»[30].

Не приводя других свидетельств, заподозревающих цену неаполитанской религиозности, не можем умолчать, однако, что г. Мишон, хотя и аббат, к сожалению совершенно сходится в своих отзывах с людьми либерального образа мыслей. Аббат очень остроумно подсмеивается, например, над неаполитанскими проповедниками, приводя в пример анализ одной проповеди какого-то отца Джузеппе Фуриа на тему, что «целомудрие равняет человека с ангелами». Вся проповедь, говорит аббат Мигнон, была чисто в аскетическом духе; отец Фуриа не делал ни малейшего применения к общественной жизни, ни малейшей уступки даже супружеским отношениям – он требовал чистейшего целомудрия и рассыпался для него в самых ярких метафорах и благоуханных фразах, с весьма патетическими жестами, по обыкновению. «Разумеется, не такие проповеди могут оживлять добрые стремления в душе и укреплять человека в практической жизни, – замечает аббат Мишон, – а между тем все почти проповедники в Неаполе берут темы столько же бесплодные и отвлеченные, следуют той же рутине и схола-

стике». Вообще он замечает, что духовенство в Неаполе плохо образованно, грубо и часто не понимает даже своих обязанностей. Служителями церкви делаются от некуда деваться. К одному из аристократов Неаполя явился молодой дюжий парень с грубыми замашками, одетый клерком; священник, который привел его, просил сеньора внести за него плату, необходимую для того, чтобы молодой человек мог получить священство. Сеньор был неприятно удивлен и заметил: «Помилуйте, да ему бы лучше в солдаты идти!» – «Это правда, – заметил священник, – но он очень труслив!» В этом и состояло его призвание к священству – ядовито замечает аббат Мишон[31].

Мы не имеем особенного интереса защищать католическое духовенство бывших неаполитанских владений; мы не решаемся на это тем более, что в недостатках его сознаются сами его защитники. Так, например, виконт Лемерсье соглашается, что «духовенство неаполитанское далеко не так безукоризненно, как французское; количество его, слишком значительное в сравнении с народонасе-

лением, заставляет его более, чем нужно, соприкасаться с течением дел житейских; они входят в семейства более в качестве знакомых, нежели духовных отцов. Уважение к их священному званию ничуть не страдает от этого, но самая личность уже не внушает духовного благоговения. У народа менее религиозного такие отношения скоро породили бы ссоры и даже скандалы; но у неаполитанцев, не вредя нимало их вере, они только уменьшают престиж священнической рясы» [32]. Впрочем, благородный виконт кончает тем, что все это – пустяки и что «никаким образом не должно верить басням относительно клира, вымышленным людьми, которые желали бы уменьшить спасительное влияние духовенства на массы». Вот это-то нам и нужно, это для нас и главное. Пусть духовенство будет и грубо, и небезукоризненно в своем поведении, и необразованно; мы спорить не станем. Но оно имеет огромное влияние на массы – вот факт, которого никто не отрицает. Факт этот указывается уже самым количеством духовенства в Неаполе. Аббат Мишон говорит, что количество духовных считают в

Неаполе равным около трети всего мужского населения. Эту цифру он считает очень преувеличенной; но, чтобы дать понятие о многочисленности клира, дает следующую мерку: «Однажды, – говорит он, – идя по улице Толедо, я из любопытства вздумал считать священников, которые мне встречались: в течение полчаса я насчитал их 120 и бросил считать». Ясно, что если даже не нравственным влиянием, то одним своим присутствием духовенство должно составлять в Неаполе значительную силу. Но и влияние его велико; об этом свидетельствуют нам всего лучше люди, враждебные к нему. Так, г. Теодор Берн пишет: «Если законы в Неаполе вообще мало оказывают влияния на нравы, зато совершенно противное надо сказать о религии, действующей различными средствами и на личность, и на семейство, и на целое общество. Дух католический и клерикальный здесь господствует и управляет, и на нем-то лежит почти вся ответственность за настоящее положение вещей. Он в течение веков упорно работал над тем, чтобы понизить нравственный и умственный уровень народного харак-

тера. Теперь он отказался, правда, от ужасных мер средних веков: он не убивает тела, но зато вынимает из него душу[33].

Мы знаем, что значат эти выражения в устах Верна, и из его слов мы делаем простое заключение, что влияние клира к Неаполе – огромно и что оно всегда было направлено к тому, чтобы смирить кичливое недовольство, успокоить страсти и внушить народу послушание и самоотвержение. Этого было бы довольно нам для вывода, что церковь в Неаполе всегда была помощницею законной власти Бурбонов, а никак не возбуждала народ к волнениям и недовольству. Но, чтобы окончательно разрушить всякое сомнение по этой части, мы должны коснуться еще одного подозрения, которое в последние годы распространено было злонамеренными людьми насчет неприятностей, возникших будто бы между Фердинандом II и святейшим отцом. Трудно было бы поверить этому, зная, как благочестив был король неаполитанский и как много делал он для церкви. Известно, например, что он назначил святого Игнатия Лойолу маршалом своей армии и определил

ему огромное жалованье, которое выплачивалось обществу иезуитов[34]. Известно, что духовный отец Фердинанда, монсеньор Кокль, имел на него такое сильное влияние, что его считали даже превышающим влияние начальника полиции Делькаретто. Известно, что король строго выполнял все религиозные обряды, аккуратно являлся в церковь, когда должно было совершаться чудо с кровью св. Дженоаро, просил о совершении этого чуда даже тогда, когда решил осветить газом свою столицу[35]. Известно, что по его желанию в Риме в последние годы его жизни наряжена была комиссия о причислении к лику святых первой жены его, Марии Христины, умершей в 1836 году[36].

Все это уже свидетельствует в пользу полнейшего согласия бурбонского правительства с папским. Но несколько лет тому назад было между ними маленькое недоразумение по поводу иезуитов. Враги порядка и доброго согласия хотели воспользоваться этим, чтобы прокричать о несогласиях между Римом и Неаполем. Но вот что говорит по этому поводу благочестивый Жюль Гондон: «Будьте уверены,

что чувства короля в отношении к сынам св. Игнатия совершенно таковы же, как и самой церкви, и доказательством этому служит неограниченное доверие, которым пользуются члены этого славного общества во всем королевстве. Свобода действий, предоставленная иезуитам, не имеет пределов; можно сказать, что им вверил король воспитание всех классов общества. Недавно поручено им было управление церковною школою, куда приходили отличнейшие члены клира из разных диоцезов;{48} они и теперь воспитывают детей аристократов, в благородных коллегиях, и детей среднего класса, в лицеях; они имеют своих профессоров в военной школе; духовное направление армии поручено их усердию; тюрьмы отданы в их полное распоряжение, госпитали открыты для их отеческих попечений. Таким образом, за исключением нормальной церковной школы, иезуиты управляют всеми учреждениями, и неприятности, происшедшие недавно и направленные более против некоторых личностей, хотя и печаливают все католические сердца, но не должны подавать повода к сомнениям в

продолжении наилучших отношений между королем и святейшим отцом»[37].

Таким образом, мы приходим к решительному заключению, что одна из самых важных сил, управляющих жизнью народа, – религия была в Неаполе постоянно в союзе с королевской властью и что служители религии, имея огромное влияние, располагали народ не к нововведениям и самовольству, а к послушанию, самоотвержению и сохранению утвержденных порядков и обычаев. Консерватизм религиозный неразлучно связывался с консерватизмом политическим.

Теперь перейдем к другой силе – воспитанию. Мы знаем, что идеи, внушаемые в первые годы ученья, очень глубоко западают в душу и что от направления общественного воспитания в данный период много зависит политическое состояние народа и государства, иногда в целом ряде поколений. В Неаполе и эта сторона представляется нам в самом удовлетворительном виде. Несколькими строками выше из свидетельства г. Гондона мы узнали, что воспитание всех классов общества в Неаполе вверено было иезуитам.

Этого уже довольно, чтобы не подозревать в неаполитанском воспитании даже и тени какого-нибудь либерализма. Стоит вспомнить нападки на иезуитов, хоть, например, во Франции, в 1844 и 1845 годах. Тогда гг. Мишле и Кине читали публичные лекции о злобности иезуитов, и вся сущность обвинений, направленных этими либералами против почтенного ордена, состояла в том, что «иезуиты задерживают дело свободы, иезуиты препятствуют успеху новых идей, иезуиты составляют контрреволюцию»{49}. Понятно, следовательно, в каком направлении должно было совершаться под их руководством воспитание неаполитанского народа! Недаром Гарибальди как только овладел королевством, так и выгнал их – и из Сицилии и из Неаполя, и даже конфисковал их именья. Понятно, что для революционеров это были самые опасные люди.

Чтоб не останавливаться на простых соображениях а priori, мы, однако, и здесь приведем несколько свидетельств и фактов. Вот слова Монтанелли, из которых видно, что действие воспитания систематически было

направляемо к целям, сообразным с волею правительства, и что в этом случае само духовенство, при всем просторе своих действий, было подвержено строгому контролю. «Независимо от своих прямых средств, которыми католическое духовенство сопровождает человека от колыбели до могилы, оно владело в Неаполе еще средствами особыми, данными ему прямо от правительства, и между прочим – неограниченной властью в деле народного образования. Из четырех университетов – в Неаполе, Палермо, Мессине и Катане – только в одном последнем начальник не был духовный. Во всех местностях, где были заведения школы, учреждался комитет из четырех священников и полицейского комиссара для наблюдения за воспитанниками. Комитет этот давал позволение вступить в школу только тем, которые предварительно приписывались к какому-нибудь религиозному обществу. Лицеи, семинарии, коллегииумы и все вообще учебные заведения были в руках иезуитов. В Неаполитанском королевстве считалось (в начале царствования Фердинанда) более 60 000 духовных, в том числе 30 000

монахов. Правительство заботилось, чтобы начальники этой армии – архиепископы, епископы, приходские священники, настоятели монастырей, игумны – избираемы были из самых раболепных и низких, для того чтоб всякий священник или монах, сохранивший под полукафтanjem или клобуком чувство гражданина (а в таких тоже не было недостатка у неаполитанской демократии), были подвержены строгой инквизиции в своей же касте»[38].

Но, не довольствуясь усердием иезуитов, бурбонское правительство чрезвычайно тщательно следило само за всем, что могло казаться подозрительным в деле народного воспитания. Так, например, университет неаполитанский, которого профессора в прежнее время особенно славились и имели влияние на молодежь, был постоянно стесняем очень суровым контролем. В 1848 году многие из профессоров принуждены были удалиться или брошены к тюрьму, и с тех пор университет начинает падать. Лучшие из профессоров, успевшие избежать тюрьмы и ссылки, поселились в Турине, в Париже и там читали лек-

ции. Оставшиеся были так стеснены и материально и нравственно, что не могли высказывать и того немногого, что имели на душе. Несмотря на то, увеличение студентов в университете показалось Фердинанду опасным признаком умничанья молодежи, и потому в 1854 году издан был указ, запрещающий поступать в неаполитанский университет молодым людям, кроме только тех, которые по происхождению принадлежали к провинции Неаполитанской или Лабурской. В других провинциях предполагались *академии* для молодых людей, и указ редижирован{50} был в смысле заботливости правительства о семейной нравственности и экономии: местные академии назначены были к тому, чтобы предохранить семейства от напрасных трат, а молодежь – от нравственных опасностей, неизбежно грозящих юноше, оставляющему родительский кров. Само собою разумеется при этом, что провинциальные академии никаким образом не могли равняться с неаполитанским университетом в размерах и достоинстве своих курсов.

Что касается до самих университетов, то

программы и правила их всегда были очень хорошо составлены и давали широкую свободу преподаванию. Но это вовсе не значило, чтобы правительство отвращало от них свое бдительное око. Напротив, оно зорко следило за всем, что делалось в университетах, и при первом подозрении принимало благоразумные меры. Монтанелли говорит о двух профессорах неаполитанского университета, Саличетти и Саварезе, которых оставляли на их кафедрах с тем только, чтобы они не читали своих курсов[39]. Вообще открытие каждого курса должно было сначала получить разрешение правительства, через посредство полиции. Случалось так, что позволение давалось, но потом, после новых соображений, отменялось накануне открытия курсов. Г-н Берн рассказывает такой случай об одном профессоре права, человеке самого скромного характера и известного преданностью королю; единственная причина запрещения его курса состояла в том, что его чтения могли возбудить толки о разных формах правления и о правительственных мерах[40]. Впрочем, иногда даже и этих соображений не нужно было, чтобы

затруднять курсы: так, по свидетельству Монтанелли, полиция вмешивалась даже в курсы физики Меллони[41]. Только изучение древних языков поощрялось необыкновенно, разумеется, исключительно с филологической точки. Чтение древних писателей, вроде Аристофана, Демосфена, Тацита и пр., было даже запрещено, но многие годы усиленного труда употребляемы были для изучения всех лингвистических трудностей и филологических тонкостей. Кончалось тем, что молодые люди, отлично выучивши все грамматики и половину лексиконов греческих и латинских, получали отвращение к чтению древних писателей и употребляли свое знание лишь на сочинение казенных рассуждений на заданные темы. Но нельзя не сознаться, что занятие древними языками много спасало их от вольнодумных рассуждений о настоящем порядке вещей и от опасных мечтаний о будущем.

Кроме прямых запрещений, действовали на ход образования и меры посредственные, состоявшие, например, в том, что послушание и хорошее поведение награждались вниманием и поощрением предпочтительно

пред всем остальным. И это применялось не только к личностям, но даже к целым заведениям. Так, например, музыкальная консерватория в Неаполе постоянно пользовалась нерасположением Фердинанда и лишена была всякой правительственной поддержки в последнее время, за неблагоприятное поведение ее воспитанников в 1848 году. Двое отличнейших итальянских астрономов, Нобиле и Капоччи, один за другим бывшие директорами обсерватории *Caro di Monte*, оба были отставлены за либеральные идеи. Профессора сицилийских университетов получали за свои уроки плату, составлявшую содержание по 2 1/2 франка (около 60 коп.) в день, – это почти равнялось жалованью швейцарских солдат и жандармов в Неаполе[42]. Указывают также на один пример, что ученые или профессора, не получая никаких пособий от правительства и имея весьма скудное содержание, разорялись на научные опыты и принуждены были отказываться от своих занятий. Даже в отношении к прошедшему было то же самое. В Бурбонском музее никогда не хотели позаботиться о приобретении картин

Сальватора Розы; хотя это был лучший из художников, рожденных в Неаполе, но его политические убеждения были нехороши, и потому картины его считались, даже и по прошествии двух столетий, недостойными Бурбонского музея...

По этим данным нетрудно составить себе понятие о том, до какой степени могло возмущать неаполитанских юношей направление, вредное правительству. Ясно, что ему прокрасться не было почти никакой возможности. Но мы знаем еще более: мы имеем в руках подлинное указание на то, как священники и иезуиты старались проводить направление, сообразное с видами правительства. В письмах Глэдстона цитирована одна книга, сочиненная для употребления в школах в Неаполе. Там, между прочим, есть наставления и об отношении подданных к правительству. Глэдстон, в качестве англичанина, думает, что наставления эти ужасны и невероятны, и потому опасается даже, чтоб его цитации не заподозрили в неверности и преувеличении. Оттого он с забавной подробностью и описывает удивительную для него книгу

и приводит полное ее заглавие. Вот оно: «Catechismo filosofico per uso delle scuole inferiori. Napoli presso Raffaele Mirondo. 1850» [43]. В другом издании катехизис этот составляет, по словам Глэдстона, часть коллекции, называемой: «Collezione di buoni libri a favore della veita e della virtu»[44]. Имени автора на ней нет, но приписывали ее канонику Аппуцци, бывшему во главе комитета народного просвещения. Катехизис этот имеет латинский эпиграф: «Videte, ne quis vos decipiat per philosophiam» («Смотрите, чтобы кто-нибудь не обманул вас философией»), и посвящен «государям, епископам, начальникам, наставникам юношества и всем благонамеренным людям». В предисловии автор говорит, что «правительство желает ввести во все школы преподавание практической философии по этой книге и что за преподавателями постоянно будут невидимо следить, точно ли они исполняют свои обязанности относительно внушения юношам здравых понятий, заключающихся в катехизисе», и пр. и пр.[45].

Все это Глэдстон приводит затем, чтобы внушить более ужаса к режиму, при котором

могут быть в ходу такие книги. Но мы, зная «Катехизис» только по его цитатам, вовсе не находим его так безнравственным и потому не намерены приходить от него в ужас. Мы приведем его цитаты единственно затем, что они показывают, как усердно и основательно с самых малых лет внушались подданным Фердинанда и Франциска начала долга и повиновения законной власти.

«Катехизис» написан в вопросах и ответах, по обыкновенной манере катехизисов{51}. Но напрасно было бы искать в нем какого-нибудь сходства с теми катехизисами, какие мы знаем и по которым каждый из нас учился. У нас обыкновенно учитель спрашивает, а ученик отвечает; здесь же совершенно наоборот – учитель отвечает на вопросы ученика. Таким образом, книга, цитруемая Глэдстоном, не представляет ни малейшего подобия с обычными катехизисами, употребляемыми в наших школах{52}. Учитель объясняет ученику, между прочим, значение королевской власти, говоря, что власть эта не только божественного происхождения, но, сверх того, по самой своей сущности, должна быть неогра-

ниченна. Ученик спрашивает:

– А может ли сам народ установить основные законы в государстве?

– Нет, – отвечает учитель, – потому что конституция или основные законы необходимо составили бы ограничение верховной власти. А эта власть не может подчиняться никакой мере, никакому пределу, разве только по собственному желанию государя; иначе она и не была бы властью верховною и высшею, учрежденною самим богом для блага обществ.

УЧЕНИК. А если народ, избирая государя, предложит ему известные условия и ограничения, могут ли они составлять конституцию или основные законы для государства?

УЧИТЕЛЬ. Да, если только государь сам свободно их принял и утвердил. В противном случае – нет, потому что народ создан для того, чтобы повиноваться, а не приказывать, и, следовательно, не может предписывать законов властителю, который власть свою получает не от народа, а от бога.

УЧЕНИК. Предполагая, что владетель, принимая управление государством,

принял и утвердил конституцию и обещал или поклялся хранить ее, – обязан ли он сдерживать свое обещание и соблюдать эту конституцию или основные законы?

УЧИТЕЛЬ. Да, если только это не разрушает оснований верховной власти и не противно общим интересам государства.

УЧЕНИК. Почему же вы находите, что государь не обязан соблюдать конституцию, как скоро она посягает на права его верховной власти?

УЧИТЕЛЬ. Мы уже решили, что верховная власть есть высочайшая и неограниченная, установленная богом для блага общества, и эта власть, ниспосланная от бога, как необходимая, должна быть сохраняема ненарушимо и неприкосновенно; она не может быть ограничена или уменьшена человеком, без противления законам природы и божественной воле. Поэтому во всех случаях, когда народ захочет постановить правила, ограничивающие верховную власть, и когда государь обещает соблюдать эти правила, – подобная претензия народа есть

нелепость, и обещание – недействительно, и государь вовсе не обязан сохранять конституцию, которая противна велениям Божиим; напротив, он обязан сохранять вполне и ненарушимо верховную власть, от Бога установленную и от Бога ему вверенную.

УЧЕНИК. Кому же принадлежит право решать, нарушает ли конституция права верховной власти и противна ли она благу народа?

УЧИТЕЛЬ. Это дело самого властителя, потому что в нем обитает высшая и абсолютная власть, установленная Богом в государство для сохранения в нем доброго порядка и благосостояния.

УЧЕНИК. Нет ли опасности, что властелин может нарушить конституцию без законной причины, введенный в заблуждение или увлеченный страстью?

УЧИТЕЛЬ. Ошибки и страсти – это болезни человеческого рода; но благо здоровья не следует отвергать из опасения болезни.

УЧЕНИК. Почему же вы полагаете, что государь может нарушить кон-

ституцию, если находит ее противною интересам государства?

УЧИТЕЛЬ. Бог вверил властителям верховную власть для того, чтоб они устраивали благо общества; в этом, значит, и состоит первая обязанность государя. Поэтому если данная конституция или основной закон оказываются вредны, то они теряют свою обязательную силу для государя. Предположите, что доктор обещался и поклялся больному, что он ему пустит кровь, а потом убедился, что кровопускание будет губельно больному; ясно, что он должен преступить свою клятву, потому что выше всех клятв и обещаний для медика стоит обязанность заботиться об излечении больного. Так точно и для государя высшая обязанность состоит в том, чтобы заботиться о благе своих подданных: никакая клятва не может обязывать человека делать зло, и, следовательно, никакой клятвой властитель не может быть принужден делать то, что он признает вредным для своих подданных. Сверх того, наконец, глава католической церкви имеет

дарованное ему от бога право разрешать совесть от данной клятвы, когда он находит для того достаточные основания.

Как протестант, Глэдстон возмущается последним пунктом; как англичанин – он считает «безнравственными и отвратительными» все понятия, внушаемые ученику искусным учителем. Глэдстон так крепок в противных убеждениях, что не считает нужным даже доказывать своей мысли о «вреде и низости» принципов «Философского катехизиса». Но нашлись благоразумные люди, которые ему сказали: «Да что же тут безнравственного? Это очень справедливо, это превосходно! Честь и слава клиру неаполитанскому, бодрствующему над спасением душ и охранением порядка общественного! Слава и мудрому правительству, таким образом споспешествующему вечной истине проникать в сознание народа» и пр.[46]. Мы, с своей стороны, не имеем надобности распространяться пред нашими читателями о том, что не можем выразить согласия с понятиями Глэдстона и должны скорее принять мнения г. Гондона, нежели

ли его. Если что мы можем не одобрить в «Катехизисе», так это одно – излишнее распространение с юношами о таких вещах, которые не относятся к их прямому назначению и которые должны быть ими приняты беспрекословно, без всяких рассуждений. Юноша, принадлежащий к неаполитанскому обществу, должен был знать без всяких катехизисов, что в Неаполе царствуют Бурбоны и что они должны издавать законы, отменять или улучшать их, а он должен только повиноваться всем распоряжениям власти. Стараясь ему доказывать это, «Катехизис» мог внушить ему кичливое мнение, будто он может всегда требовать резонов для своего послушания и рассуждать о том, согласна ли наконец власть Бурбонов с самим божественным правом!? Это уж было бы очень дурно. Но мы находим извинение для автора «Катехизиса» в обстоятельствах, при которых была написана его книга: это было в 1850 году, когда революция только что еще укрощалась в Неаполе, когда против короля повсюду слышались обвинения, что он изменил конституции, которой присягал торжественно, и пр. Ввиду та-

ких толков и в надежде на силу своего убеждения, каноник Аппуцци и решился поставить вопрос довольно прямо. По нашему мнению, его «Катехизис» весьма хорошо приспособлен для своей цели, тем более что к этой цели, как мы видели, вело и все остальное в воспитании неаполитанского юношества.

Таким образом, вторая сила, образующая общества и определяющая их характер, вовсе не была направлена в Неаполе к возбуждению умов против правительства Бурбонов, а, напротив, всячески содействовала его укреплению.

Собственно говоря, этого и довольно было бы для полного убеждения, что все неаполитанское общество и народ были направляемы наилучшим образом, в смысле постоянной покорности и сохранения власти Бурбонов, Три остальные явления, названные нами выше, – литература, общественные собрания и тайные общества – составляют уже не более как частности, далеко не имеющие над умами такой силы, как религия и воспитание. Но весьма много есть людей, придающих им преувеличенное значение и даже им одним при-

писывающих часто не только народные волнения, но и всякого рода неприличности. Недавно, например, в Париже полиция закрыла балы в зале Бартелеми, где канканировали уж слишком откровенно: один из ультрамонтанских журналов вошел по этому поводу в нравственные рассуждения, которых смысл был тот: вот что значит читать дурные журналы, вроде «Siccle» и «Opinion Nationale», отвергающие и светскую власть папы и все святое!.. Мы помним такие инспектора одного учебного заведения, где мы воспитывались, – который, поймавши воспитанников с папироскою, входил в страшный азарт и принимался уверять, что все это влияние Гоголя и натуральной школы!..^{53} Для подобных людей необходимо рассмотреть и то, не подкапывался ли трон Бурбонов посредством литературы и прочих второстепенных средств.

Относительно литературы читатели знают, конечно, наше мнение. Не раз говорили мы, что признаем ее значение только в смысле разъяснения вопросов, которые уже задает себе само общество, а никак не в смысле создания новых стремлений и элементов обще-

ственной жизни, независимо от самих жизненных фактов. В прошлом году мы даже успели возбудить против себя негодование многих почтенных литераторов, решившись приложить эту мысль к русской литературе [47]. Может быть, мы и заслужили тогда это негодование, потому что, говоря о предмете, столь близком для всех нас, как родная литература, естественно не могли высказывать суждений вполне определенных и решительных и чрез то давали повод толковать наши слова в противность их истинному смыслу. Но тем не менее мы не отказываемся от своих слов ни в отношении к русской и ни к какой другой литературе, и всего менее к неаполитанской, которая, как увидим, находилась при Бурбонах в положении почти исключительном, о котором – надо полагать – читатели наши не имеют ни малейшего понятия{54}

Есть положения, в которых литература, журналистика – заменяют школы и лекции и служат к образованию взглядов и стремлений молодого поколения. Это тогда, когда воспитание школьное слишком уже мертво, слыш-

ком противно естественным требованиям мысли, когда оно стремится не развивать, а убивать дух и внушает такие начала, которых нелепость чувствуется даже ребенком. Тогда школы падают в общем мнении, наставления учителей презираются и школьники, подсмеиваясь над своими уроками, бегут искать истины и удовлетворять свою любознательность в постороннем источнике. Образ мыслей молодежи складывается уже не по урокам в школе, а по прочитанным книжкам...

«Ну, вот в этом-то положении и находилось неаполитанское общество при Бурбонах», – восклицают либеральные господа, подобные Шарлю Мазаду, Теодору Верну и пр. «Оттого-то литература и важна была в Неаполе, что в ней одной могли искать истины и здравого смысла молодые люди, убиваемые в школах наставлениями вроде силлогизмов «Философского катехизиса». Не станем спорить с горячими противниками бурбонской системы; положим, что «Философский катехизис» и сообразное с ним воспитание казались неаполитанским отрокам отвратительными в той же мере, как самому Глэдстону.

Этого не могло быть, но предположим, что так; предположим, что вследствие этого молодые люди искали иных воззрений, иных понятий – в литературе. Что же могли они находить в ней?

Что ничего противного власти и общественному порядку не могла давать юношам литература в Неаполе, за это ручается нам учреждение, специально назначавшееся там для наблюдения за печатью и весьма строго исполнявшее свои обязанности, – цензура. Нужно быть слишком наивным, чтобы предполагать, что бурбонское правительство могло допускать что-нибудь противное его желаниям и интересам в книгах и журналах, издававшихся не иначе как с одобрения назначенной им цензуры. То же надо сказать и об иностранных книгах: для них существовал строгий таможенный осмотр, и запрещенные книги в Неаполе составляли одну из самых трудных и опасных отраслей контрабанды. Прибавим, что цензура книг поручена была иезуитам, которые, как известно, особенно искусны проникать все ухищрения разума и разрушать их. Что они показывали даже

слишком много усердия, на это жалуются сами защитники бурбонской системы. Так, виконт Лемерсье пишет: «Поручение иезуитам цензуры было ошибкою, потому что если они лучше всякого могут оценить нападки на религию, зато, не зная жизни общественной, часто считают вредными такие книги, которые не только нимало не опасны, но еще в известных отношениях могли бы принести пользу людям, живущим в обществе»[48]. В этой жалобе виконта виден, конечно, остаток того французского либерализма, в котором он сознается и извиняется в посвящении своей книги; но из нее же видно, в какой степени строго было цензурное наблюдение иезуитов, соединенное с контролем полиции. То же видно и из горячих отзывов всех либералов, которые, естественно, не могли быть довольны тем, что в Неаполе нельзя им печатать всего, что вздумается. Жалобы неаполитанцев на цензуру сообщены были, разумеется, французским путешественникам, посещавшим страну, а те разнесли по всему свету множество анекдотов и горьких выходок относительно положения литературы в Неапо-

ле. Рассуждая благоразумно и спокойно, мы находим, что все это, в сущности, вздор, что жалобы были напрасны и что правительство Бурбонов в своих видах поступало очень основательно. Ему нужно было утвердить народ в доверии и послушании, а писатели хотели критиковать меры правительства и вообще приучать народ к рассуждению об общественных делах. Очевидно, что правительство Бурбонов должно было устранять из литературы все, что ему казалось противным его интересам. При этом случались, конечно, ошибки, иногда от излишней предусмотрительности, иногда по каким-нибудь частным отношениям: считалось опасным то, чего никак нельзя было заподозрить во враждебности государственному порядку, запрещались фразы, имена, упоминания о фактах, всем известных, и т. п. Но какое же учреждение человеческое может похвалиться совершенством? Действительно, были недостатки и в неаполитанской цензуре, но были они как в ту, так и в другую сторону: запрещались часто книги безвредные, зато иногда пропускались (хотя и редко) вещи довольно смелые. Таким обра-

зом, из всех жалоб и анекдотов, распространенных в Европе про неаполитанскую цензуру, мы не выводим ничего для нее предосудительного. Но нам нужен факт, нужно подтверждение факта, для того чтобы беспристрастно поверить, в какой мере литература в Неаполе могла возбуждать умы к восстанию против законного порядка. Мы находим, что вовсе не могла, и для подтверждения нашего мнения приведем свидетельства разных лиц, знакомых с делом. Ожесточение либералов, хотя и неприятное по их тону, тем не менее может служить нам наилучшим ручательством в бдительности и строгости, с которою неаполитанская цензура исполняла свою обязанность. Надеемся, что читатель сам поймет, как ему следует ценить и понимать горячие выходки либералов, и потому приводим их, не смягчая их тона.

Эта страна, где мысль подчинена цензуре, естественно обречена на молчание, – провозглашает аббат Мишон. – Кто захочет подвергаться изувеченью от пристрастного или глупого цензора? Больше – кто осмелится писать,

зная, что одна фраза, один намек, одно слово могут быть гибельны? Я никогда не предполагал, чтобы цензурная суровость доходила до такой степени в Неаполе. Мне было известно, например, что некоторые труды по естественной истории были изданы в Палермо; но в Неаполе их невозможно было найти. Я напрасно искал даже путеводителей и некоторых сочинений о Святой земле... Книг мало пишется в Неаполе, как мало читается. Если заходят сюда книги, то они прячутся на полках библиотек и никогда не обращаются в книжной торговле. Жалко видеть на выставках в книжных лавках, что это за литература, которой дозволено свободное обращение в публике... И это вовсе не значит, что неаполитанский ум лишен самобытности и огня; нет, его убивает свет; это светильник, гаснущий под спудом. Нет сомнения, что в числе лучших, свободных стремлений неаполитанских образованных классов надо заметить стремление – получить право выражать свои мысли о всех вопросах, интересующих человечество. Этот на-

род, униженный своим правительством до степени скотов, в отношении к философскому и литературному движению человечества, тяжко страдает от этого унижения. Это бедное дитя, не имеющее возможности развить своих способностей ученьем и с грустью вззирающее на детей богатых, имеющих все способы учиться[49].

Оставляя в стороне желчные выходки аббата, мы находим в его отзыве полнейшее подтверждение того, что со стороны литературы бурбонское правительство было вполне обеспечено. О его заботливости в этом отношении свидетельствует и тот факт, упоминаемый не без горечи в «Записках» Монтанелли, что иезуитская цензура все еще казалась в некоторых отношениях не вполне предусмотрительною и потому впоследствии отдана была в непосредственное ведение Делькаретто, бывшего начальника жандармов и потом министра полиции[50].

Подобные распоряжения приводили в отчаяние либералов. Бесплодная ярость их передана была в ядовитых выходках французских и английских журналов и в заметках ту-

ристов. Иногда они доходили до большого неприличия в тоне, но именно при этом-то и высказывалось наиболее искренно все бессилие оппозиционной и либеральной литературы в Неаполе, вся ничтожность писателей, желавших что-нибудь непозволительное провести через эту цензуру. Они только осуждали себя на напрасные муки и принуждены были искажать свою мысль, так что она всегда выходила ни то ни се и лишалась даже достоинства строгой логичности. Вот как об этом рассказывает один из французов, довольно серьезно познакомившийся с Италией, Марк Монье:

Никогда и нигде человеческая мысль не была жертвою деспотизма более произвольного и детски мелочного, не угнеталась и не терзалась с большим невежеством и упорством, как в Неаполе, особенно перед 1848 годом и после того.

Всякий журнал, книга, газета, всякий листок печатной бумаги подвержен был предварительному просмотру и исправлениям цензора. Таким образом, он читал около 40 газет и журналов,

издававшихся в Неаполе, и все, что печаталось отдельными книгами. Он изнемогал под тяжестью этой работы, подобной работе школьного учителя и вместе мудрого Ментора литературы, и за то был награждаем всеобщим презрением.

Я, впрочем, ошибаюсь, говоря об одном цензоре; их два в Неаполе: один духовный, другой – от полиции; первый ловит контрабанду вольнодумства религиозного, второй стоит на страже, чтобы не пропустить в печать идей или фраз, противных так называемому общественному порядку.

Положение писателя, имеющего что-нибудь сказать и видящего над собой эту двоякую грозу, невыносимо. Один итальянец говорил об этом: у нас автор волей-неволей всегда имеет своим сотрудником цензора. Пусть он и не коснется моей книги – тем не менее он виден будет во всяком обороте моей фразы, в развитии всякого моего суждения, в выражении всякого чувства. Это потому, что я вижу моего цензора пред собою, когда обдумываю мой предмет, помню о нем, когда бе-

русь за перо. Он как будто стоит за мною, когда я пишу, и читает написанные строчки. Как часто развитие мысли останавливается на половине, чувство заглушается от уверенности, что они не могут быть пропущены бурбонскою цензурою в том виде, как бы я хотел. Я начинаю фразу и чувствую, что цензор не дает мне кончить ее. Таким образом, чтобы иметь возможность писать, я раздваюсь, думаю за себя и за своего цензора, обрезаю мои мысли его ножницами и кончаю тем, что действительно выражаю уже не то, что я хочу и думаю, а то, что считаю согласным с понятиями цензора и его инструкцией, то, что мне позволено думать и выражать[51].

Эти признания должны быть искренни; судите же по ним, в какой мере возможны были в Неаполе сочинения, опасные для господствовавшего порядка вещей! Сами писатели сознаются, что они принуждены были искажать свои мысли сообразно с понятиями цензора (то есть, разумеется, не того или другого человека, в частности, но вообще цензора как

представителя правительственных инструкций относительно литературы); но если сами авторы и не успевали иногда удержать себя или усвоить себе настоящий тон, какой следовало, то в этих случаях цензура принималась за свое дело и исправляла их ошибку. У разных писателей мы находим множество фактов и анекдотов на этот счет; они большею частью имеют в виду – пристыдить неаполитанскую цензуру и потому касаются таких случаев, которые действительно представляют цензуру несколько привязчивою и мелочною. Но в своей совокупности все эти анекдоты рисуют, однако же, общее направление этой части неаполитанской администрации при Бурбонах и свидетельствуют все-таки в пользу ее бдительности, а никак не слабости. Поэтому мы приведем некоторые из рассказов, оставляя ответственность за них на тех авторах, у которых мы их заимствуем.

Один автор представил в цензуру французскую грамматику, составленную им «для итальянцев». Цензору показалось возмутительным это слово (как признак унитарных стремлений, быть может), и он его вычерк-

нул.

В одной комической пьесе кто-то из действующих лиц жалуется на «расстройство своей конституции»... Представление пьесы было запрещено на основании этой фразы, в которой нашли каламбур, напоминающий уничтожение конституции 1848 года[52].

Имена Лютера, Кальвина, Кампанеллы, Вольтера, Джоберти и многих других было запрещено даже упоминать, разве только изредка с бранными прилагательными{55}. Вероятно, по этому поводу рассказывают, будто цензура не хотела однажды пропустить трактат о гальванизме, потому что это напоминает кальвинизм.

Всякая философия строго запрещена. Г-н Монье рассказывает, что ему однажды попала в Неаполе книга с заглавием «Логика Гегеля». Он был удивлен, каким образом такая страшная ересь могла явиться в Неаполе; но оказалось, что Гегель служил только предлогом для первых страниц, а в сущности это было изложение мыслей св. Фомы Аквинанского.

В заботах о нравственности запрещены

были дуэли на театре; поэтому множество пьес переводных или оставшихся от прежнего времени – должны были перестать играть или же как-нибудь коверкать.

В образец переделок, каким подвергаются книги, приводят роман Дюма-сына «La dame aux Camélias». В неаполитанском переводе из нее сделана дочь честных, но неблагородных родителей, на которой хочет жениться молодой человек. Таким образом, вмешательство его отца и все, что из него происходит, делается уже единственно затем, чтобы избежать неравной партии.

Замечают, что литературные произведения последних лет, изданные в Неаполе, бесцветны и казенны в своих выражениях до последней степени: в этом тоже винят цензуру. Рассказывают, что в одном сочинении о школе реалистов цензор никак не хотел согласиться на часто встречавшиеся слова: «бездушная природа», находя, что в них скрывается нечто похожее на атеизм. У другого автора вычеркнули слово *eziandio* (которое значит *еще* или *даже*), потому что оно кончается на «*dio*» (бог), а между тем попало в фразе до-

вольно низкого смысла. Наконец, просто – всякая смелость или новизна выражения, всякое остроумие пугает цензуру. Одна комедия запрещена была как двусмысленная; автор после долгих переговоров заставил цензора согласиться, что во всей пьесе нет ни одного политического намека и ни малейшего оскорбления нравственности. Но все-таки кончилось тем, что цензор объявил ему: «Но, во всяком случае, в пьесе слишком много остроумия и резкости; сгладьте и смягчите ее, и тогда мы посмотрим»[53].

Иногда, правда, цензура делала промахи и пропускала книги и статьи, которые оказывались впоследствии не совсем невинными в отношении к системе бурбонского правительства. Так, например, раз была пропущена статья, в которой доказывалось, что «упадок литературы свидетельствует о стеснении свободы мысли в государстве». Хотя мысль эта развивалась в применении к римлянам, кажется, но читатели, и прежде их само правительство, увидели тут прямое отношение к порядкам, введенным в Неаполе Бурбонами... Так точно был другой случай, гораздо важнее:

Микеле Амари, один из известнейших сицилийских писателей, издал книгу под заглавием: «Эпизод из сицилийской истории XIII столетия»{56}. Так как XIII столетие было уж очень давно, то книга и была пропущена, как неопасная. Но вдруг потом оказалось, что Амари толкует в ней о Сицилийских вечерах совершенно с новой точки зрения, обнаруживавшей демократический образ мыслей. Книга была запрещена, разумеется; но множество экземпляров успело разойтись в публике, и «Эпизод» был пожираем с жадностью. Впрочем, подобные промахи цензуры были очень редки в Неаполе и обходились недешево самим авторам. Собственно говоря, в образованных государствах Европы, имевших цензуру, вообще не принято было карать авторов за книги, дозволенные к печати, хотя бы они и оказались не вполне кроткими. Автор отвечает за себя тогда, когда он сам распоряжается своими мыслями и их публикацией; но когда правительство берет эту обязанность на себя, то оно тем самым избавляет писателя от ответственности за последствия публикации. Книга дозволена; если она про-

изводит вредное действие, правительство сознает свой промах и ворочает назад свое дозволение, но не сваливает ответственности на автора. Так делалось везде; но в Неаполе, для большей безопасности общественной, правительство заставляло самого автора отвечать за то, что оно же ему дозволило. Для пресечения зла в самом корне, думало неаполитанское правительство, нужно не только не давать ходу вредным книгам, но уничтожать и людей, способных писать такие книги. И в силу этого рассуждения бурбонское правительство никогда не стыдилось сознаться в опрометчивости, не считало несообразным с своим достоинством сказать, что оно, как малое дитя, было обмануто и обольщено автором, не в состоянии будучи понять его ухищрений, и что поэтому намерено примерно наказать его, как человека, злонамеренно воспользовавшегося правительственным простодушием. Так случилось и с Амари. Когда читатели нашли, что Карл д'Анжу похож на Фердинанда, правительство решило, что Амари виноват и этом, лишило его должности, которую он имел в Сицилии, и приказало явиться к от-

вету в Неаполь, пред Делькаретто. Амари вместо Неаполя отправился в Париж и там остался. Но за него отставлен был цензор, пропустивший книгу, сослан на остров Понца издатель Бризолезе и запрещено пять или шесть журналов, которые похвалили ее, вовсе не предвидя, что сходство Фердинанда с Карлом д'Анжу окажется столь несчастным для литературы.

Может быть, эти меры были несколько строги; либералы, наверное, найдут, что они были даже очень круты, даже ужасны и несправедливы. Но мы прежде всего находим, что они внушены были бурбонскому правительству чувством самосохранения и, следовательно, были весьма благоразумны; ибо что же может быть благоразумнее самосохранения? Тут правительство действовало уже не по соображениям отвлеченной справедливости, а единственно соразмеряя свои меры с величиною скандала, произведенного в публике. В 1847 году, например, когда умы были очень возбуждены, оно запретило даже перепечатывать либеральные буллы Пия IX и преследовало его портреты – не по недостатку

уважения к святому отцу, а единственно потому, что тогда в почитании Пия IX высказывался либерализм беспокойных людей[54]{57}. Это уменье соображаться с обстоятельствами в своих отношениях к литературе никогда не покидало бурбонское правительство. Вот чем объясняются, между прочим, *местные* запрещения, которые так удивляли многих в королевстве Обеих Сицилий. Аббат Мингон упоминает, что не мог найти в Неаполе некоторых сочинений, изданных в Палермо; может быть, они потому и появились в Палермо, что в Неаполе их бы не пропустили. Впрочем, в последствии времени издано было повеление, по которому всякое сочинение, заключающее в себе более печатного листа, должно было из Сицилии присылаться в главную цензуру в Неаполь. Вообще, когда было замечено, что сицильянцеы отличаются несколько вольным духом, то на них стали смотреть гораздо строже. Например, сочинения Макиавелли и Альфиери, допущенные свободно в Неаполе, для Сицилии были запрещены. Даже и в городах самой Сицилии была разница: например, «История Италии» Ботты, напеча-

танная в Палермо, была запрещена в Мессине [55].

Во всех подобных мерах не одна мысль о поддержке своего значения управляла Фердинандом, но также и стремление удержать свой принцип. Он знал, что его личное значение несколько не уменьшится от разрешения той или другой книги, допущения в публике тех или иных суждений; но он был убежден, что, по его собственным словам, «народ его не имеет надобности думать»; он сам хотел управлять всем безответственно, не соображаясь ни с чем, кроме своей воли. Этим объясняются, между прочим, даже его неприятности с иезуитами, которых он очень уважал, но не хотел допустить, как силу, противодействующую ему. Впрочем, как бы то ни было, главное для нас то, что в неаполитанской науке, литературе, искусствах – не могло быть, по крайней мере в течение двух поколений, ничего противного правительству Бурбонов и их принципам. Духовенство, цензура, полиция, сам король – заботились совокупно о том, чтобы содержать народ в строжайшем порядке и чистейшей нравственности. Из-

вестно, что Фердинанд входил во все мелочи управления, и цензурная часть в самом обширном смысле была не последнею его заботою. Много раз приводили анекдоты о его стараниях относительно нравственности в искусствах: он, например, велел закрыть в Бурбонском музее картины и статуи, изображавшие нагое тело; он приказал поместить Венеру Каллипигию в особом кабинете, куда запрещен был вход публике; он сам определял длину юбок театральных танцовщиц и издал повеление, чтобы трико, в которое они одеваются, было зеленого цвета, так как это менее может раздражать воображение... Все это, собственно, не имело ни малейшего политического значения; но понятно, что, привыкши к такому режиму, общество и ни в чем другом уже не осмеливалось вольничать и предъявлять те или другие требования, а терпеливо ожидало, что ему прикажут. Таким образом, Фердинанд постоянно сохранял полный произвол в своих действиях и в течение своего царствования успел привести к молчанию даже смелых и говорливых; остальные же, по-видимому, потеряли даже и мысль о

том, чтобы затевать что-нибудь в противность существующему порядку.

Да и напрасно было бы затевать: затеи эти всегда кончались плохо. Так, например, мы знаем, чем кончилась история книги Амари. Вот еще один подобный факт; Антонио Раньери издал роман «Ginevra, l'orfana dell'Annunziata»{58}, в котором изобразил некоторые ужасы, совершавшиеся в этом благотворительном учреждении. Книгу конфисковали, автора засадили на три месяца в тюрьму. Один из министров, нашедший в романе свой портрет, предлагал, что Раньери надо непременно сослать или посадить в сумасшедший дом. Но предложение это застало короля в хорошую минуту; он ответил со смехом: «Да, конечно, – для того чтоб он еще написал роман об этом заведении и о суммах, которые там крадут». Начальником этого заведения был тот самый министр, который требовал заключения Раньери, и в ответе короля увидели намек, вследствие которого нашли нужным освободить автора. Но эта история отозвалась ему впоследствии: его постоянно преследовали цензурою. Он написал

небольшую книжку нравственных размышлений под названием «Frate Rosso»; ее стали было пропускать, но как только узнали имя автора, всю оборвали и даже потребовали для нового пересмотра листы, уже пропущенные. Он стал издавать «Историю Неаполя»: ее остановили на девятом выпуске. Он принялся было издавать сатирический журнал: его тотчас запретили. Его призывали во Флоренцию в профессора: тосканскому правительству тайно посоветовали отказаться от этого человека, которого лекции ничего не могли принести молодежи, кроме вреда... И между тем Раньери человек вовсе не крайних мнений; он всегда старался держаться в стороне от политики; в 1848 году он не захотел даже позволить нового издания «Джиневры».

Так же поступали с журналами. Феррора с своими друзьями издавал в Сицилии журнал статистический: в 1845 году его запретили по какому-то ничтожному поводу. В Неаполе, ранее 1848 года, Риччарди издавал журнал «Progresso». Журнал составил себе очень быстро хорошую репутацию, и правительство, изгнавши Риччарди, решилось удер-

жать журнал, поручивши его редакцию господину Бианкини, который был потом министром полиции. Под новой редакцией журнал все стали называть «Regresso».

Приводя все эти факты, мы просим не забывать, что большая часть их совершилась с изданиями, дозволенными цензурою. Из этого ясно видно, что правительство вовсе не довольствовалось мертвым исполнением однажды установленных правил, но неусыпно следило за литературными явлениями даже и после их просмотра в цензуре. До какой степени постоянно подозрительны и чутки были в Неаполе ко всем журнальным толкам, это видно, например, из истории заговора Нирико в 1831 году. Г-н Петручелли де ла Гаттуна, подробно рассказывая эту историю, говорит, что Нирико с своими друзьями постоянно собирались в одном кафе, которое выписывало «Gazzette di Milano» и за то было на замечании у полиции. «Cazzette di Milano» издавалась по инструкциям князя Меттерниха, из которых выдержка приводится г. Петручелли. «Что касается до направления газеты, – писал Меттерних в тайной инструкции г. Бомболу

23 сентября 1830 года, – то мне не нужно прибавлять, что она должна быть составляема в известном вам духе, то есть без малейшего преувеличения вещей, с общим стремлением к сохранению тишины и порядка и со старанием передавать читателям известия как можно скорее». Для неаполитанских либералов и этого было уже много, и они считались опасными за то, что с особенным усердием читали эту газету; относительно же других газет, как, например, «Debats», тогдашнего «Gonstitutionnel»{59} и пр., – они могли только собирать сведения из третьих рук: в кафе приходил один господин Витале, который слышал о том, что пишут в этих газетах, – большею частью от кассира Ротшильда, и потом пересказывал своим друзьям!.. Так бедна была в Неаполе литературная пища для либерализма! И положение дел по этой части не сделалось благоприятнее для либералов в течение царствования Фердинанда, а разве стало еще неприятнее.

По части литературы было, правда, в королевстве Обеих Сицилий два средства проводить либеральные идеи, но средства чрезвы-

чайно жалкие, ненадежные и только свидетельствующие об окончательной невозможности либерализма в обыкновенной литературе при Бурбонах. Эти средства были: тайное печатание и контрабанда книг заграничных. Тайное печатание было всего значительнее в Сицилии; но и там, разумеется, оно не могло быть очень значительно. Надо помнить, что полиция Фердинанда была всегда очень бдительна и преступления печати наказывались весьма строго. Нередко одно подозрение стоило дорого обвиненным. В один из последних годов царствования Фердинанда были, например, схвачены два типографщика, обвиненные в печатании мюратистских прокламаций{60}. Они отвергали обвинение; их подвергли пытке; под пыткой они сознались. Между тем оказалось, что прокламации пришли из-за границы. Типографщиков оставили в покое, но не выпустили из тюрьмы[56]. При этих условиях удивительно еще и то, что находились смельчаки, решавшиеся печатать и пускать в ход тайно напечатанные книги. Нужно было дойти до крайности, чтобы на это решиться. И мы видим, что действитель-

но тайное печатание принимало несколько значительный вид только уже в решительные минуты, при приближении восстания. Да и тут полиция среди забот более важных не теряла из виду цензурных обязанностей и, когда считала нужным, находила преступника и умела принять свои меры против возмутительных сочинений. Так, например, в 1847 году появился написанный Сеттембрини «Протест народа Обеих Сицилий». Фердинанд приказал отыскать автора. Известно, что народ неаполитанский (как и всякий народ, впрочем, в этих случаях) умеет хранить тайну. Но полиция тем не менее принялась за свое дело и вскоре засадила в тюрьму или сослала множество граждан, считавшихся почему-нибудь подозрительными: Карла Поэрио, Мариано д'Айала, Доминика Мавро, Джузеппе дель Ре и пр. В числе захваченных был и сам Сеттембрини, который, разумеется, чтобы освободить других, сам признался в своем преступлении. Но прокламации, подобные «Протесту», не были явлением обыкновенным. Большею частью тайная пресса производила издания гораздо более невинные: они принуждены бы-

ли печататься тайно потому только, что обычная цензура была уж слишком строга. Пансионерки прячут (или прятали прежде) под подушки и под скамьи в классах даже Пушкина; это, конечно, вовсе не значит, что бы Пушкин был вреден общественному порядку и нравственности, а доказывает только, что его не позволяют (или не позволяли) читать пансионеркам. Так и в Неаполе, по свидетельству Леонарди, «летучие листки, тайно напечатанные, отводили душу публике, восхваляя правительства, стремившиеся к реформам, и порицая правительства ретроградные[57]. Из этого видно, что в большей части даже этих тайных листов не могло быть ничего собственно революционного. А если что оказывалось, то немедленно же вызывало розыски полиции.

Контрабанда была легче, по продажности чиновников таможни, и защитники бурбонской системы указывают на это обстоятельство, как на прямое опровержение жалоб, будто неаполитанское правительство вовсе не допускает в свои пределы света образования из других земель. «Ведь, несмотря ни на

какие предосторожности, – говорит виконт Лемерсье, – всякая иностранная книга, как бы она дурна ни была, доходит же всегда до людей, достаточно богатых для того, чтобы заплатить за нее вчетверо или впятеро против обыкновенной цены»[58]. И действительно, из отзывов путешественников видно, что многие неаполитанские аристократы и богатые люди находили средства постоянно следить за политикой и читать все замечательное, что появлялось в иностранных литературах. Но мог ли этим пользоваться народ и большинство общества, не бывшего в состоянии платить за книги впятеро? Велико ли могло быть обращение книг, которые проникали в страну только благодаря подкупности таможенного чиновника? Во всяком случае – это были книги запрещенные; следовательно, они осуждены были оставаться на полках библиотек (да и то где-нибудь подальше) у тех, кто их купил, и могли быть сообщаемы разве самым близким друзьям. Очевидно, что подобным образом не могла по всей стране разлиться пропаганда, опасная трону Бурбонов!..

Но, может быть, те немногие, которые читали все запрещенное, разносили либеральные идеи в обществе и волновали умы? Разговор не требует таких хлопот и приготовлений, как писанье, и известно, что одна запрещенная книга производит всегда более толков, нежели сотни не запрещенных. Когда текущая литература не дает никакой пищи уму, этой пищи стараются искать в чем-нибудь другом, и чаще всего ее находят в устных рассуждениях, которые занимают все время в общественных собраниях всякого рода. Не шла ли революционная пропаганда в Неаполе этим путем?

По всему, что мы знаем о Неаполе, ничего подобного в нем не бывало при Бурбонах. Нечего говорить о том, что всякие клубы, митинги и т. п. были там невозможны; но мы знаем, что чрезвычайно затруднительны были всякие общественные собрания какого бы то ни было рода, для какой бы то ни было цели. Предусмотрительность правительства была так велика, что оно запрещало все, в чем находило хоть малейшую тень намека на то, что оно может подать повод к подозритель-

ным рассуждениям. Так, однажды хотели было основать «Общество поощрения художников» под председательством брата Фердинанда, графа Сиракузского. Король нашел это подозрительным и не согласился, заметив, что для поощрения художников есть королевская академия и что никакого тут общества не нужно[59]. В 1854 году большое стечение публики произошло по случаю похорон адвоката Чезаре, «одного из самых темных членов палаты депутатов 1848 года», по словам ревностного защитника Бурбонов г. Гондона. Пред гробом его произнесено было несколько речей; сам г. Гондон, желающий выставить их как уголовное преступление, характеризует их содержание лишь следующими словами: «В этих речах, под предлогом похвалы умершему, произносили апологию режима, который уже не существует более»[60]. За это говорившие и даже многие из присутствовавших поплатились тюрьмою или ссылкой... Множество арестаций делалось единственно на основании вольных слов, произнесенных в публичных местах. Чтобы отнять предлог к собраниям в кафе, Фердинанд запретил в них

всякого рода игры, даже домино, бывшее в особенном употреблении. Чтобы предохранить своих подданных от иноземного разврата, он затруднял путешествия за границу и даже запретил своим подданным принять участие во французской всемирной выставке 1855 года. Относительно словесного выражения политических мнений в Неаполе существуют два закона, 1826 и 1828 года, не отмененные до конца бурбонского царствования, а напротив, еще дополненные Фердинандом. Один касается хулы, в церкви или в каком бы то ни было публичном месте, против религиозных предметов, за что полагается заключение в тюрьму от 6 до 10 лет. В дополнение к этому закону Фердинанд повелел указом 7 февраля 1835 года – «устранять в подобных случаях всякий вопрос о намеренности или ненамеренности хулы и не принимать в оправдание хмельное состояние хулившего». Другой закон, сентября 1828 года, действовавший все время при Фердинанде, говорит, что все начальствующие лица «должны поощрять всеми средствами приверженцев трона и алтаря и объявить смертельную войну

всем, кто в прошедших беспорядках делом или словом показал враждебность правительству». В противном случае чиновникам грозило изгнание из службы и преследования их самих как врагов короля[61]. Духовенство также, по общему убеждению, было замешано в полицейские дела и пользовалось даже тайною исповеди для открытия правительству опасных для него секретов. Глэдстон в своих письмах упоминает об этом как о вещи, которую многие утверждают, но достоверность которой, натурально, не могла быть им исследована. Пользуясь этим, г. Жюль Гондон в своих опровержениях пришел в страшное негодование и объявил, что это – клевета, за которую гнев небесный поразит Глэдстона и всех, кто ему поверит. «Впрочем, – замечал г. Гондон, – ни один добрый католик не поверит, чтобы в католическом духовенстве нашелся хоть кто-нибудь, способный к такому позорному вероломству и низости». Однако лорд Глэдстон впоследствии объявил, что он знает два случая таких доносов через посредство исповеди. С другой стороны, недавно сделалось известно, что в самом Риме секрет ис-

поведи нарушался в пользу политических соображений и это одобрялось правительством. Недавно в одной книге об Италии опубликованы были подлинные документы на этот счет [62]. Наконец, Монтанелли приводит формулу клятвы, которую должны были давать епископы королевства при их посвящении. «Если в моем диоцезе или где бы то ни было узнаю я какой-нибудь замысел ко вреду государства, я обязуюсь предварить о том его королевское величество» [63]. После этого ужасы и отречение г. Гондона кажутся нам уже не совсем основательными: факт нарушения секрета исповеди вовсе не представляется таким чудовищным, и довольно вероятно, что общая молва о нем в Неаполе была справедлива.

При таком положении вещей, разумеется, публичные собрания если и бывали, то никогда не допускали в Неаполе политических или каких бы то ни было вольных разговоров. До чего в Неаполе доведена была боязнь высказать лишнее, то, чего не следует, можно видеть по нескольким примерам, приводимым разными писателями. Г-н Верн, например, говорит, что он был в Неаполе, когда

пришло туда известие о взятии Севастополя. По отношениям Фердинанда к нашему двору и по участию в войне части итальянцев, крымские дела очень занимали неаполитанское общество; но никто не смел высказать никакого мнения, не решился сделать ни малейшего замечания, пока через день не узнали из официального журнала, как следует смотреть на событие[64]. Виконт Лемерсье, защищая неаполитанское дворянство от упрека в невежестве, говорит, что, напротив, оно очень хорошо понимает даже политику, только не высказывается; но мы были удивлены просвещенным либерализмом знатного общества, прибавляет он, за одним обедом, «где говорили по-французски, чтобы служители не могли вслушаться в разговор»[65]. Аббат Мишон тоже рассказывает случай в этом роде. «Однажды, – говорит он, – зашел я в кафе и услышал там французский разговор. Мне нужно было узнать адреса нескольких лиц в Неаполе, и, полагая, что мои соотечественники должны знать их, я обратился к одному из собеседников и показал ему записочку с именами лиц, которых я желал видеть. «О! будьте

осторожнее, – испуганно сказал он, посмотрев на мой листок – тут есть имена, заподозренные полицией! Вот такой-то умер, а этот – в тюрьме; пожалуйста, не упоминайте их имен. Поверьте мне, я четырнадцать лет живу в Неаполе, – говорить о лицах, компрометированных в политике, а еще более отыскивать их адреса – здесь очень опасно»«[66].

По этим образчикам можно судить, в какой степени вредные для бурбонского правительства идеи могли распространяться в обществе посредством устной пропаганды. Можно сказать положительно, что со стороны печати и слова Бурбоны могли быть совершенно благонадежны.

Но величайшее зло итальянских государств, говорят, составляли тайные общества. Чем более правительство бодрствовало над умами и воспрещало публичное проявление общественного мнения, тем более работали и преуспевали тайные общества. Они-то, может быть, и устроили падение Бурбонов?..

Нужно сознаться, что неаполитанцы, точно, имели всегда маленькую слабость к тайным обществам и заговорам. Но известно, что

их процветание относится к двадцатым и тридцатым годам нынешнего столетия; после же этого времени они всё более и более упали. Отчасти они теряли свой кредит в неудачных попытках, отчасти же парализованы были благоразумными мерами бурбонской полиции. Карбонары были обессилены уже революциею 1820 года, и хотя по сведениям, собранным Интонтти, при начале царствования Фердинанда их было в королевстве до 800000[67], но в этом числе было, конечно, сочтано много таких, которые вовсе не принимали деятельного участия в обществе, а просто принадлежали к недовольным. Легкость, с которою карбонары были разогнаны и почти уничтожены после нескольких неудачных заговоров, доказывает, что эта секта уже не имела той силы, как за десять лет пред тем. Новая секта «Юной Италии», основанная Мозолино (и не имевшая ничего общего с «Юной Италией» марсельской), также была почти рассеяна после открытия заговора Россароля и Романо{61}. После того, около 1839 года, опять возродился карбопаризм; каково было его значение, можно судить по то-

му, что двигателем и главою общества был на этот раз Боццелли, тот самый Боццелли, который в 1848 году, увидав акт конституции, подписанный Фердинандом, бросился к ногам его и воскликнул: «О государь! Если б я знал вас ранее, никогда бы я не думал о заговорах!»[68] Такое общество не могло быть особенно опасно для бурбонского правительства даже по своим тенденциям. Да и вообще мнение итальянских патриотов в последнее время стало далеко не в пользу тайных обществ, каковы бы ни были их намерения. Мы приведем два суждения – Монтанелли и Чезаре Бальбо.

Трудно сказать, – говорит Монтанелли, – не сделали ли больше зла, нежели добра, для своего дела тайные общества, к которым неаполитанцы имеют такую исключительную слабость. Их приверженцы говорят, что они сохранили священный огонь свободы под могильным камнем деспотизма и произвели революцию 1820 года. Но можно возразить, что для поддержания этого огня и для приготовления умов к восстановлению свободы и к борьбе

за нее довольно братских соединений, которые бы образовались повсюду сами собою, без всяких иерархических связей между собою, без повиновения какой-то подземной власти, как это принято в собственно так называемых тайных обществах. Можно также возразить, что соединение людей в тайное общество заглушает всякую личную инициативу, всякий самобытный порыв и мешает тем могучим соединениям, которые происходят от свободного движения сердец и от естественных симпатий. Можно сказать, что всякое тайное общество представляет в себе забавное воспроизведение каст, таинств и авторитета, что оно налагает рабство, как время искуса для получения свободы. Можно заметить, что секта карбонаров не могла бы произвести движения 1820 года без некоторых внешних толчков, если б ему не содействовали жестокости и притеснения, совершенные самой монархией, и что, напротив, эта секта, более нежели что-нибудь другое, была вредна для революции, сделавши невозможным всякое

правильное устройство дел и разрушив военную дисциплину[69].

Монтанелли, однако, еще щадит несколько тайные общества, говоря, что он не хочет пускаться в слишком подробное развитие всех этих обвинений, которые, может быть, и не вполне уничтожают значение обществ. Бальбо говорит еще решительнее:

Новые тайные общества (дело идет о карбонарах), как и старые, были самым дурным средством, какое только возможно, для произведения революции. Это было самое дурное средство в нравственном отношении, потому что самая сущность тайных обществ и заговоров состоит в секрете, обмане и вероломстве; самое дурное и в отношении к успеху, потому что непрямота таких обществ отвращает от них адептов и не внушает доверия тем, которые входят в них, так что из них никогда не выходит общего, единодушного движения и, следовательно, не выйдет никакого великого дела. Сверх того, в этих тайных соединениях, часто возобновляемых и составляемых из разнообразных элементов, обыкно-

венно больше толкуют, нежели делают, и приобретают порок рассуждать без всякой пользы. Тут строят проекты, основанные не на практике обычного течения дел, которая неизвестна сектаторам, а на теориях, и даже не на солидных соображениях возможности, а просто по диктовке горячих их стремлений. Вообще заговоры и секты составляют такое средство революции, которое противно всем требованиям новой цивилизации: все стремится к публичности, в них господствует секрет; мы ищем всеобщего согласия общественного мнения, они действуют меньшинством; наконец, самые средства их действий противны требованиям человечества, более и более развивающимся в европейских народах [70].

Мы привели эти мнения не для чего-нибудь иного, как для того, чтобы видеть, как потеряли свой кредит тайные общества даже в глазах итальянцев. Графа Бальбо нельзя, конечно, причислять к особенным авторитетам в этом случае; но мы видели, что даже Монтанелли говорит почти то же самое, что и Баль-

бо. Таким образом, если бы бурбонское правительство даже гораздо менее страшилось тайных обществ и слабее преследовало их, и тогда бы они не могли иметь достаточной силы для произведения общего восстания в государстве. Но мы видим во все время, от усмирения революции 1820 года до последних месяцев бурбонской династии, – непрерывные и неусыпные преследования всего, что могло казаться хоть желанием иметь намерение покуситься на заговор или тайное общество. Известен указ Франциска I от 24 июня 1828 года, по которому «соединение двух лиц уже достаточно для составления тайного общества». Можно сказать, что полиция Фердинанда, в своей подозрительности, постоянно руководилась этим правилом. Пришлось бы написать несколько десятков страниц, если бы мы захотели дать краткое resume всех политических процессов, происходивших в царствование Фердинанда, для доказательства бдительности полиции и строгости наказаний, каким подвергались противники власти Бурбонов. Довольно сказать, что, по вычислениям Колетты и Леопарди, в течение времени от 1794

до 1824 года погибло разными смертями за любовь к свободе до 100 000 человек, а в царствование Франциска I и Фердинанда до 1850 года к ним прибавилось еще 50 000.

От подозрения ничто не спасало, и подозреваемый никак не мог избежать преследований. Несколько лет тому назад в английском парламенте возбужден был общий смех рассказом лорда Пальмерстона об одном молодом человеке, который в каком-то из провинциальных неаполитанских городов был арестован бог знает за что. Друзья его обратились к префекту полиции, уверяя его, что других не может быть виновен, что его арест, вероятно, недоразумение. Префект ответил, что никакого тут недоразумения нет, что он очень хорошо знает невинность молодого человека и никакого обвинения против него не имеет. «Так зачем же вы его арестовали?» – «А вот видите, – отвечал добродушный префект, – я только что получил строгий выговор от правительства за небрежность, потому что я давно уже никого не аресто<вы>вал, теперь мне надо показать свою деятельность; ваш друг попался мне на глаза, я его и засадил,

как засадил бы всякого другого. Надо же мне показать свои бдительность»[71].

В 1855 году много также говорили в Европе о войне, которую объявила неаполитанская полиция бородам и шляпам известного рода как признакам вредного образа мыслей и даже принадлежности к тайным сектам{62}. Немало шума было также из-за процесса маркиза Тальява, который был обвинен как участник в какой-то сект убийц и под пыткой не только себя признал виновным, но еще оговорил английского и сардинского посланника. Можете себе представить, что тогда писали по этому случаю английские журналы. Вообще когда дело касалось подозрения в сектаторстве и вообще в опасном образе мыслей – полиция неаполитанская не знала мер своему усердию и не разбирала ни лиц, ни средств. Иностранцы, епископы, посланники, члены королевской фамилии – никто не был оставляем в покое. Женщины, дети, дряхлые старики – все казались подозрительными, всех допрашивали, обыскивали, запирали в тюрьму, пытали. Домашние обыски производились беспрестанно, и всякий след сноше-

ний с лицами подозрительными влек за собою тюремное заключение и ссылку. Мы не хотим приводить частных фактов, потому что они слишком известны, и никто не заподозрит нас в выдумке или преувеличении. Укажем только несколько цифр: в 1851 году, по словам Глэдстона, число политических преступников, содержащихся в неаполитанских тюрьмах (исключая Сицилии), общим мнением признавалось около 15–20 тысяч. Апологист Бурбонов г. Гондон, опровергая лорда Гладстона официальными данными, утверждал, что число это равняется всего 2024. Но, во-первых, г. Гондон не считал, как кажется, тех, которые содержались по прикосновенности и по подозрению; во-вторых, известно, что при огромном количестве дел полиция неаполитанская не всегда соблюдала строгую точность в цифрах своих отчетов; в-третьих, наконец, по бесчисленному разнообразию проступков, подлежащих при Бурбонах ведению полиции, она не всегда ясно могла классифицировать преступления, и потому легко может быть, что политические преступники содержались иногда под другими названиями

и в других разрядах. Во всяком случае, даже по официальным данным известно, что в королевстве Обеих Сицилии было в 1851 году 530 тюрем, что в них содержалось в это время двумя третями более положенного комплекта и что, наконец, места не оставалось для новых узников. Весь этот избыток надо приписать множеству политических преступников, оказавшихся после 1848 года. Столь же официально высчитано, что с 1848 по 1857 год Фердинанд в разных манифестах, по случаю рождения сына и других семейных радостей, дал амнистии 16 000 человек. Правда, амнистии эти оказались ничтожными, как и амнистии Франческо, например, данные им по вступлении на престол. Но все-таки цифры эти дают понятие о том множестве людей, у которых заботливостью полиции отнималась возможность вредить порядку, существующему в государстве. А сверх того, надо еще принять в соображение число людей, сосланных, изгнанных и просто выехавших из королевства Обеих Сицилий. Можно сказать, что все, стремившееся к низвержению бурбонского правительства, все, отличавшееся непокор-

ным и беспокойным духом, – все это было к концу царствования Фердинанда – или казнено, или заточено, или удалено из королевства. «Неаполь теперь не в Неаполе, а в Турине», – писали путешественники, находившие в пьемонтской столице все, что некогда блистало в Неаполе; и из перечня имен, приводимого ими, видно было, что действительно почти все неаполитанцы, еще оставшиеся в живых и на свободе и могшие быть сколько-нибудь опасными господству бурбонской системы, спокойно проживали в Турине; некоторые оставались в других местах за границей, но в Неаполе никого не было. Даже после амнистии Франческо в прошлом году никто почти не возвратился; стали приезжать в Неаполь только в июле нынешнего года, после провозглашения конституции и второй амнистии, более решительной. Но мы знаем, что в это время уже падение бурбонского трона было решено. Зловредные люди, поехавшие в Неаполь в июле и августе, были уже более зрителями, нежели актерами.

Вот мы написали уже довольно много, да же, может быть, слишком много страниц, а

между тем нимало не подвинулись в решении заданного самим себе вопроса, отчего же это Бурбоны так внезапно и с такой невероятною быстротою утратили свое королевство? Мы не ленились на изыскания; мы заглядывали и в творения либералов и в апологии людей благочестивых и добропорядочных; мы пересматривали одно за другим все условия, каким обыкновенно приписываются все беспорядки и смятения в государствах Западной Европы; мы взвешивали силу оппозиции, которая могла существовать в королевстве Обеих Сицилии, сравнивали ее с силою правительства Бурбонов и постоянно находили, что для торжества этой оппозиции не было никаких элементов. Повторим еще раз результаты изложенных нами фактов. Народ неаполитанский в своей массе не понимал политических нрав и желал одного: оставаться постоянно под отеческим управлением Бурбонов. По своему характеру – народ этот кроток, беспечен, доволен малым, религиозен и в высшей степени покорен. Ясно, что управлять таким народом дело самое легкое; а чтобы восстановить его против существующего

порядка, для этого надо употреблять неимоверные усилия и возиться с ним много и долго, может быть больше, чем со всяким другим народом на свете, да и то без особенных надежд на успех. Но, положим, злоумышленники хитры и сильны, они всем пользуются, все пускают в оборот... Какие же средства имели они в Неаполе? Мы видели, что никаких; напротив, все обычные революционные орудия обращены были здесь против них же самих. Они не могли ничего делать посредством религии: в Неаполе не было разницы вероисповеданий, не было религиозных сект, совесть народа находилась под непосредственным влиянием католического духовенства и особенно иезуитов, бывших всегда сильными и деятельными союзниками бурбонской системы управления. Религиозное чувство народа постоянно приучаемо было к тому, чтобы смотреть на врагов королевского абсолютизма как на врагов самого бога и его церкви. Это же воззрение проводилось постоянно и в воспитании, которое находилось тоже в руках иезуитов. Таким образом, злоумышленники не могли проводить своих идей и в школьном

образовании молодого поколения. Возмущать умы общества и раздражать страсти посредством книг и статей – тоже не было никакой возможности: литература вся была в руках правительства; за нею смотрели полиция и иезуиты, и в ней, натурально, не могло появляться ничего, что бы хотели высказывать люди, злоумышлявшие против установленного порядка. Напротив, вся литература была направляема по возможности к утверждению в умах убеждения в превосходстве и благодетельности этого порядка. Иезуиты не только цензоровали книги, они и сами сочиняли их; полиция не только следила за журналами, она сама издавала свою газету; Бланкини заменил Риччарди в издании «Progresso»... Беспокойные люди печатали дурные книги тайно и за границей, ввозили их контрабандой; но мы видели, что и это средство было очень слабо: запрещенные книги были доступны лишь немногим, а как только их распространение принимало характер сколько-нибудь значительный, полиция тотчас принимала свои меры, и тут и авторы, и читатели, и продавцы, и владельцы таких книг были строго

наказываемы за обман, слушание и безнравственность. Столько же трудно было злоумышленникам действовать посредством живого слова: им не было и случаев к тому, по недостатку больших публичных собраний, да притом же за каждым словом их следила полиция и они могли по первому подозрению попасть в тюрьму. Что могли еще делать они в таких обстоятельствах? Последнее убежище – заговор, тайное общество. Но мы уже знаем, что людей злонамеренных и беспокойных было в Неаполе самое ничтожное количество: адвокаты, медики и еще кое-кто в этом роде... Остальное все было спокойно и довольно, не желало ничего лучшего. Кого же могли буйные либералы привлечь к своему обществу? Двух-трех юношей, сбившихся с пути и позабывших наставления религии и своих учителей! Недаром же и были так жалки и бесплодны многочисленные попытки заговоров при Фердинанде... Один раз (1848 год), пользуясь всеобщим волнением в Европе, либералы успели было взять перевес; но и то надолго ли? Народ сам показал себя враждебным к ним (по крайней мере так думают

благоразумные люди), и власть короля была восстановлена во всей своей силе. А чтоб зло- вредные люди не продолжали возмущать умов, их вслед за тем захватили повсюду, где могли захватить, и предали суду. Иные из них погибли в темнице, другие сосланы на галеры, третьи изгнаны; некоторые успели убе- жать сами, а оставшиеся и найденные невин- ными, но все-таки подозрительными насчет образа мыслей, отданы под строжайший при- смотр полиции. Могли ли они после этого продолжать свои коварные замыслы и волно- вать умы? Могли ли даже мечтать о торже- стве своих незаконных идей над законною властью Бурбонов? Не были ли они обессиле- ны, поражены, уничтожены? Не поражились ли, не придавливались они всякий день, вся- кий раз, как только осмеливались обнаружи- вать свое существование?

Да, при конце царствования Фердинанда сила бурбонского правительства представля- ется нам прочно утвержденною, торжествую- щею над всеми противными началами, непо- колебимою в своем могуществе. Ни один из элементов, считающихся вообще благоприят-

ными волнениям и непокорству, не только не был развит, но даже, прямо можно сказать, – не существовал в королевстве Обеих Сицилии.

И между тем революция так быстро, так легко сокрушила трон Бурбонов, хотя новый король ни в чем не изменил режиму своего отца! Чем же объяснить эту странность? Должна же быть какая-нибудь причина этого удивительного явления?

Причин этих, читатель, приводят даже две: соглашаясь в том, что не либералы и злоумышленники, что не характер народа произвел падение Бурбонов, их противники говорят, что причиною революции были сами же Бурбоны с своей системою; защитники же их и сам Франческо, тоже признавая, что народ тут нимало не виноват и что либералы непричастны, – уверяют, что вся история была делом иностранного вмешательства.

Читатель может принять ту или другую причину; но мы просим у него позволения рассмотреть их обе в следующей статье.

Один из даровитейших писателей нашего времени есть, бесспорно, синьор Казелла, первый, последний и единственный министр бывшего короля неаполитанского Франческо II. Вся Европа читала его ноты и протесты, которым, конечно, позавидовал бы сам Меттерних, если б мог теперь чему-нибудь завидовать. При чтении этих нот мы всегда воображали себе синьора Казеллу в виде вдохновенного Архимеда, говорящим: «Дайте мне точку опоры вне Гаэты, и я всю Италию переверну по-своему». Но, к несчастью, желанной опоры он не нашел нигде, ни даже в императоре Луи-Наполеоне, которого так трогательно благодарил в одной из своих нот{63}, справедливо получившей название «интродукции к лебединой песни». Все красноречие гаэтского министра было бессильно против *вещественной* силы «пьемонтских величишек», по счастливому выражению графа Монталамбера{64}. Пьемонт вероломно напал на своих сограждан, покорил их и отнял все права у законного их короля... Очевидно, что с такими раз-

бойниками делать нечего; они не послушают ни Казеллы, ни Монталамбера, ни самого святейшего папы. Но если с Пьемонтом нельзя створить, то в Европе никогда не бывает недостатка в людях степенных и благомыслящих, готовых с полным доверием прислушиваться к назидательным речам синьора Казеллы. Таким образом, мнения, им излагаемые, нашли в себе отголосок во всех легитимистских и в некоторой части либеральных журналов Европы. С половины сентября мы каждый день читали на разные лады повторяемые суждения о том, что неаполитанская революция и низвержение Бурбонов есть дело не кого другого, как пьемонтского правительства... Вопрос, над которым мы столько бились в нашей прошедшей статье, решался, таким образом, весьма легко и в то же время основательно. Все возможные соображения, все факты прямо указывали на это решение.

В самом деле, припомните ход событий. Политика Пьемонта всегда была весьма честолюбива. Из честолюбия, и только из одного честолюбия, чтобы показать, что «и она тоже сильна», Сардиния сунула нос в Крым. Ее

армия остроумно была названа у нас «сардинкою», но это не помешало Пьемонту играть известную роль на парижском конгрессе. Еще тут он заявил свои честолюбивые замыслы, сделав донос на прочих итальянских властителей, и между прочим на короля неаполитанского и на папу{65}. Затем, пьемонтское правительство пользовалось всеми случаями погубить остальные итальянские династии: вопреки настояниям Австрии, развивало у себя либеральные нововведения и дозволяло беспорядки, давало приют людям, изгнанным из Неаполя, Флоренции, Рима и пр., совалося с своими советами и к папскому правительству и к герцогам и не упустило случая дать наставление даже юному королю Обеих Сицилии, при самом вступлении его на престол. Словом, во всех действиях Пьемонта издавна заметно было желание поставить в Италии свое влияние на место австрийского. Сначала сардинское правительство (то есть правильное – министерство, ибо Виктор-Эммануил тут остается ни при чем, вся сила в Кавуре) думало успеть легко и потому действовало только убеждением, сохраняя личину закон-

ности. Но видя, что никто из законных властителей не поддается на лукавые внушения и не располагает быть вассалом Пьемонта, видя, что Австрия не думает отказываться от своей системы, туринское министерство не поцеремонилось прибегнуть к другим средствам, гораздо менее благовидным. Сначала призвало оно на помощь чужую державу{66}: здесь была хоть тень законности. Но вслед за тем неразборчивость в средствах дошла у Пьемонта до того, что он решился действовать посредством революции!.. Таким образом произведена была революция в герцогствах, в Романье{67} и, наконец, в Неаполе. И если кто виноват во всей пролитой крови, так это пьемонтское честолюбие...

Все это повторялось не только журналами, но даже некоторыми государственными людьми. Мы бы могли указать здесь, например, на графа Буоля, на генерала Ламорисьера и других; но они были заинтересованы в деле, подобно самому синьору Казелле, и потому могли быть не вполне беспристрастны{68}. Но вот человек решительно посторонний, принадлежащий к стране либеральной, оче-

видец дела – лорд Нормэнби, известный своими открытиями относительно событий 1848 года во Франции и вообще в политической мудрости уступающих разве нашему господину Гаряинову: {69} спросите его хоть о тосканских событиях 1859 года! Кто произвел и поддержал революцию во Флоренции? Господин Бонкомпаньи, сардинский уполномоченный {70}. Он мог отречься от участия в восстании, мог доказывать лорду Нормэнби, что он, говоря об итальянских делах, выказывает только полное их непонимание. Может быть, и точно лорд Нормэнби имеет об Италии понятие несколько одностороннее (как и о Франции 1848 года)... Но это нисколько не прикрывает Сардинию: генерал Уллоа был из Турина прислан в Тоскану и от графа Кавура получал приказание и жалованье...{71} В Модене и Парме то же самое: Фарини – пьемонтец, Фарини – кавурист, как известно, и между тем он вел все дело в этих герцогствах{72}. Тоже и в Неаполе и Сицилии Гарибальди был орудием Кавура; все их видимое разногласие было просто маской... А между тем сицилийская экспедиция была приготовлена самим

пьемонтским правительством, все действия Гарибальди были направляемы из Турина с разрешения Луи-Наполеона. И когда у Гарибальди не стало сил одному с своими скопичами бороться против верных войск короля Франческо, тогда Пьемонт сбросил маску и открыто пошел войною на соседнее правительство, с которым до тех пор не прерывал даже дружественных сношений...{73}

Таков смысл последних нот министра Казеллы, таково мнение всех ультрамонтанских и части полуофициальных газет во Франции, таковы, кажется, мысли самой «Аугсбургской газеты»{74}, а может быть, даже и «С.-Петербургских ведомостей». После этого все означенные газеты имеют, разумеется, полное право жестоко осмеять нас за то, что мы ищем вчерашнего дня, добиваясь, отчего могла произойти такая быстрая и такая успешная революция в королевстве Обеих Сицилий.

Но при всем нашем уважении к пронизательности благомыслящих газет, мы на этот раз не очень спешим удовлетвориться их мнением. Нам кажется, что как ни сильно че-

столюбие пьемонтского министерства, но боязнь революционных беспорядков в нем еще сильнее. Оно желает владеть Италией, но с помощью средств благоразумных и законных. Оно понимает, что в союзе с революционерами оно, может быть, и достигнет единства Италии, но ничего не выиграет для своего собственного значения. Поэтому положительно можно утверждать, что если граф Кавур не упускает случая воспользоваться даже и революцией для расширения своего значения, то ни в каком случае не рискнет он сам на революцию. Это дело других людей, в отношении к которым граф Кавур играет ту же роль, как Меттерних в отношении к либералам времен Реставрации{75}. Еще 25 лет тому назад Маццини писал, что Пьемонт должен быть увлечен на путь реформ «идеєю о короне всей Италии»[72], так точно как Неаполь должен быть приведен к этому силою. До сих пор события служили постоянным подтверждением этих предвещаний; но в них же самих нетрудно видеть и полное оправдание Пьемонта от сообщничества с революционерами... Впрочем, мы на этот счет распростра-

няться здесь не будем, потому что об отношениях сардинского министерства к итальянской революции «Современник» уже несколько раз говорил в «Политическом обозрении». Здесь мы прибавим лишь несколько фактов, преимущественно для тех тонких политиков, которые видят во всем двойные и тройные интриги и, не довольствуясь тем, что актеры играют комедию, уверяют часто, что они только представляют, будто играют комедию, а в самом-то деле совершают что-то другое.

Дипломатическая комедия, разыгрываемая Сардинией на тему уважения к международному праву, трактатам и династической законности, совершенно ясна; не менее ясна и другая комедия, исполняемая Пьемонтом против людей, которым он одолжен своим перешедшим могуществом, и против надежд народа, прибегшего к покровительству Пьемонта. Но тонкие политики этим не довольствуются: им непременно нужно, чтоб дело было запутано так, как во второй части «Мертвых душ» русский юрист запутал дело Чичикова. Они довольны, по-видимому, только тогда, когда уж разобрать ничего нельзя и смысл че-

ловеческий решительно теряется. Но мы хотя и представляем из себя некоторое подобие Кифы Мокиевича, однако же никак не желаем иметь подобный результат для своих размышлений. От этого мы никак не хотим и не можем допустить, чтобы пьемонтское правительство руководило неаполитанской революцией и для прикрытия делало всякие пакости Гарибальди и его сподвижникам. Это можно было говорить еще, когда в кавуровских журналах уничтожали Гарибальди при самом начале его экспедиции, когда задерживали его отправление^{76}, не выдавали принадлежащих ему денег, велели стрелять в его волонтеров;^{77} можно было на этом настаивать, когда в Сицилию послан был Ла Фарина^{78}, когда Виктор-Эммануил писал к Гарибальди настоятельные письма, чтоб он не ходил на Неаполь, когда Кавур спрашивался у Луи-Наполеона, можно ли ему отвергнуть поздний союз с Неаполем, когда Гарибальди изъявлял желание, чтоб Кавур оставил министерство^{79}, а Кавур в парламенте возбуждал вопрос, можно ли вотировать адрес Гарибальди, как человеку, заслужившему признатель-

ность отечества... Все это могло считаться комедией, пока была возможность утверждать, что в видимом нерасположении министерства к деятелям неаполитанской революции нет ничего существенного, что это только так – личина. Но вот прошло еще два месяца слишком, и комедия зашла уже слишком далеко. Гарибальди остановлен в своих замыслах на Рим и Венецию, Неаполем управляет Фарини, Сицилией – Ла Фарина, Кавур объявляет Европе, что он хочет водворить порядок, с Римом заводятся сношения, Австрию рассчитывают заставить, с помощью императора Луи-Наполеона, продать Венецию. Неужели и после этого еще можно упрекать сардинское правительство в революционных наклонностях? А с другой стороны – партия, руководившая революцией в Сицилии и Неаполе, со дня на день становится более недовольною Пьемонтом. Ее журналы и брошюры чуть не каждый день открывают новые факты, бросающие на сардинское министерство очень невыгодную тень. Относительно экспедиции Гарибальди они публикуют подробности, ясно доказывающие, что пьемонтское прави-

тельство всеми мерами старалось задержать и не допустить ее[73]. В самых популярных изданиях, в календарях, в карикатурных листках стараются объяснить народу, как вредны были и продолжают быть люди кавуровской компании – *i moderati*[74], как их называют в насмешку, – для дела освобождения. Самое вторжение Пьемонта в папские владения объясняют без всяких околичностей желанием Кавура поддержать свою популярность, которая начала сильно шататься от его вражды с Гарибальди[75]. В оправдание себя Кавур тоже печатает статейки и пускает в ход брошюры, иногда составленные довольно искусно. Но они не остаются без ответа. Так, например, один адвокат (то есть человек из сословия по преимуществу революционного, по уверению г. Гондона и подобных), по имени Карло Боджио, издал брошюрку «*Savour o Garibaldi?*» и, выхваляя как будто бы Гарибальди, в то же время очень ловко дает понять, что это храбрый безумец, который ничего прочного сделать не может, и что уж если выбирать между ним и Кавуром, то необходимо довериться политической мудрости

графа. В ответ на это тотчас явилась брошюра Анджело Броффрио, не без едкости доказывающая, что «политическая мудрость» графа может увеличить значение Пьемонта какими-нибудь новыми сделками, вроде продажи Ниццы и Савойи{80}, но никогда не устроит единства Италии[76]. Это же каждый день повторяется в журналах партии, искренно приверженной к Гарибальди. Они всеми силами стараются исправить ошибку общего мнения, приписывавшего пьемонтскому министерству большое участие в проектах и действиях Гарибальди. В начале декабря «Il Diritto» говорил по поводу книги Пианчани: «Все помнят отправление Гарибальди в Сицилию. Кто не утверждал, кто не клялся тогда в Пьемонте, что экспедиция Гарибальди замышлена по согласию с Кавуром, что Ла Фарина доставлял в Геную оружие и деньги, что Кавур дал великому человеку (то есть Гарибальди) самые существенные пособия? Немногие знавшие и осмеливавшиеся утверждать противное были осмеяны, обвиняемы во лжи, оскорбляемы — как случается всегда с теми, кто решится говорить истину пред обманутой толпой. Но те-

перь истина известна...» и пр. Затем следуют факты и выдержки из книги Пианчани, которых мы не станем касаться. Но из приведенных слов очевидно, что если теперь Кавур желает распространить слух о своем участии в деле освободителей Италии, то они сами всячески хлопочут, чтобы раскрыть глаза заблуждающимся, которых, как видно, немало в самой Италии... Все это уж не походит на комедию. Наконец, всего убедительнее против мнения о том, будто неаполитанская революция была организована Пьемонтом, говорит положение, принятое теперь самим Гарибальди{81}. Не говоря обо всех последних событиях, укажем следующий факт: почти по всех городах Италии (исключая, может быть, Турина).....

Примечания

Первая часть статьи была впервые опубликована в *Совр.*, 1860, № 11, отд. III, с. 137–164. за подписью «Н. Т – нов». Вторая часть по была пропущена цензурой. Видимо, в связи с этим Добролюбов прекратил работу над третьей частью, и статья осталась неоконченной. В изд. 1862 г. вошел весь сохранившийся текст, с восстановлением значительных цензурных изъятий, сделанных в первой части статьи.

«Непостижимая странность» открывает «итальянский» цикл статей Добролюбова, возникших в связи с пребыванием его в этой стране с декабря 1860 по июнь 1861 г. Выехав за границу на лечение в мае 1860 г., Добролюбов провел там, переезжая из страны в страну, более года. То обстоятельство, что половину этого срока он прожил в Италии, несомненно объясняется притягательной силой происходивших там событий. 1859–1860 гг. стали решающим этапом в борьбе итальянского народа за национальное освобождение и объединение, начавшейся еще в конце

XVIII в. В начале 1859 г. Италия была разделена на несколько государств, в большинстве из которых находились реакционные монархические режимы: Королевство Обеих Сицилии (Неаполитанское королевство), Папская область и ряд герцогств, правительства которых держались силой австрийского оружия. Только конституционная монархия Пьемонта (Сардинское королевство) пыталась проводить политику, направленную на национальное объединение, которого она рассчитывала достичь, используя противоречия между европейскими державами, путем постепенных территориальных приращений. Области Ломбардия и Венеция находились под властью Австрии. К концу 1860 г. почти вся Италия (за исключением Рима и Венеции) представляла собой единое независимое государство. Главной силой, совершившей этот грандиозный переворот в исторических судьбах Италии, явилось демократическое движение – народные восстания против феодальных монархий и героическая гарибальдийская эпопея, уничтожившая самый реакционный и обладавший наибольшей материальной силой ре-

жим в Королевстве Обеих Сицилии.

В России, как и по всей Европе, интерес к итальянским событиям был очень велик. По свидетельству современников, слухи о них проникли даже в те слои населения, которые никогда ранее не интересовались международной жизнью, и имя Гарибальди можно было услышать в разговорах «простолюдов» (см. Мизиано К. Ф. Поход Гарибальди в оценке русских современников. – Новая и новейшая история, 1961, № 4). Не было, кажется, ни одного органа печати, который бы не касался на своих страницах итальянских событий. Для «Современника» они имели особое значение. На протяжении 1859–1860 гг. итальянские дела были главной темой раздела «Политика», который вел Н. Г. Чернышевский и в котором давалось не только точное и подробное изложение, но и наиболее глубокий анализ событий. Можно было бы ожидать, что Добролюбов станет «специальным корреспондентом» «Современника» в Италии. Однако статьи Добролюбова резко отличаются от «специальных» статей, посвященных итальянским событиям, хотя осведомленности Добролюбова

позавидовал бы любой специалист. Итальянские события, как ранее события русской жизни или произведения отечественной литературы, служили Добролюбову материалом для разработки его постоянных тем, самой важной из которых – «народ и революция» – посвящена настоящая статья.

«Непостижимая странность» – одна из самых необычных статей Добролюбова. В самом деле, может показаться странным, что страстный революционер, явившись в страну, где только что совершилась революция, где еще кипят политические страсти, запасается кипой хотя и не старых, но в большинстве своем уже устаревших брошюр и пишет статью, внешне напоминающую реферат добросовестного первокурсника на заданную тему. И эта огромная, тяжеловесная и вроде бы неактуальная статья производит впечатление, которого не оставляют даже такие яркие, проникнутые революционной романтикой статьи, как «Луч света в темном царстве» и «Когда же придет настоящий день?», – впечатление торжественного победного гимна. Причина этого впечатления заключается в том, что

вся эта масса более или менее авторитетных мнений о невозможности народной революции в Неаполитанском королевстве уже заранее опровергнута совершившимся фактом. И чем больше людей высказывало это мнение, чем различнее были их исходные позиции, тем весомее становится значение этого факта. А с другой стороны, тем очевиднее, что приведены они вовсе не для того, чтобы обнаружить недальновидность, некомпетентность или партийную пристрастность тех или иных конкретных людей. Конечно, Добролюбов испытывает удовольствие, сталкивая самоуверенные заявления какого-нибудь Ж. Гондона или виконта Лемерсье с фактом свержения Бурбонов, но не в этом главный источник его торжества. Пока он приводил высказывания о характере неаполитанского народа, можно было думать, что статья написана с целью выставить этих авторов на посмешище. Но затем Добролюбов перестает скрываться за спинами «авторитетов» и сам берет слово. Он обстоятельно доказывает, что политическая система в Неаполитанском королевстве полностью исключала проникновение в народ

либеральных идей.

Таким образом, Добролюбов противопоставляет факту итальянской революции не только расхожие суждения о характере народа (такие суждения всегда более или менее субъективны), но и вполне реальное, хотя и несколько преувеличиваемое Добролюбовым, отсутствие тех внешних факторов, которым было принято приписывать возникновение революций. В странах с развитой политической жизнью революции ни для кого не являются «непостижимой странностью», так как всегда есть возможность объяснить их пропагандой либералов, направлением литературы и т. п. События в Италии не давали такой возможности. Неаполитанская революция для Добролюбова – редкий по своей «чистоте» и близости к историческим условиям России «эксперимент», опровергающий представление «благomyслящих», довольных общественными порядками людей, будто революция – случайность, результат всякого рода внешних влияний. С другой стороны, события на юге Италии блестяще подтвердили то, во что страстно верил Добролюбов, но чему еще не

давала подтверждений русская жизнь, – что именно народ, забитый, невежественный, внешне покорный и даже привязанный к своим монархам, а не благополучное «образованное» общество, способен совершить коренное преобразование жизни. Эти события превратили горячую надежду Добролюбова на крестьянскую революцию в непоколебимую уверенность. Эта уверенность сообщила особое торжественное звучание статье и передалась читателям. «Статью Добролюбова мы поняли в том смысле, что и русский престол может быть взорван», – писал впоследствии один из представителей тогдашнего молодого поколения, признававшийся, что эта статья имела на него «особенно долговременное влияние» (Николадзе Н. Я. Воспоминания о шестидесятих годах. – В кн.: Добролюбов в воспоминаниях современников. М., 1986, с. 301–302).

Сноски

1

Всеобщее голосование (*фр.*). – *Ред.*

[^^^]

2

Чтоб очевиднее доказать это читателю, мы, как всегда делается в подобных случаях, обогащаем статью свою множеством ученых цитат на разных языках. Статья от этого приобретает несколько мрачную наружность, но мы советуем «не судить по наружности», а «поглядеть в корень», как выражается Кузьма Прутков. Корень же, уверяем вас, вовсе не горек.

[^^^]

3

«Quelques mots de verite sur Naples», par le v-te Anatole Lemorcier («Несколько истинных слов о Неаполе» виконта Анатоля Лемерсье – *фр.* – *Ред.*). Paris, 1860, p. 5.

[^^^]

4

См. «Очерки Англии и Франции» или «Отечественные записки», 1857, № 12. See various pagination{82} (см. на различных страницах – *англ.* – *Ред.*).

[^^^]

5

Мнение Н. Ф. Павлова, относящееся, впрочем, ко времени споров «Русского вестника» с «Русскою беседою», то есть к эпохе, предшествующей «Нашему времени»{83}.

[^^^]

6

Бездельем (*ит.*). – *Ред.*

[^^^]

Письмо Луи-Филиппа и ответ Фердинанда в первый раз обнародованы были г. Петручелли де ла Гаттуна в «Revue de Paris», 1856, livr. 15 oct. Они так поразили многих, что возникли сомнения в их подлинности. Эти сомнения были, между прочим, выражены парижским корреспондентом «Independance Beige», 20 ноября 1856 г. Но г. Петручелли де ла Гаттуна отвечал в «Revue de Paris», 1 декабря того же года, что он ручается за подлинность писем, и объяснял при этом, что они открыты были в Тюльери в феврале 1848 года и достались автору из рук весьма надежных. Никто не опровергал потом показаний г. Петручелли.

[^^^]

8

«Исследование» (англ.). – *Ред.*

[^^^]

9

«Examination», p. 39.

[^^^]

10

Какая выгода от парламентского правления для медиков – догадаться, конечно, трудно; но, беспрестанно призывая «les lois de l'ordre sumaturel» («законы сверхъестественного порядка» – *фр.* – *Ред.*), наш автор нередко бывает недоступен для обыкновенного понимания. Это не мешает иметь в виду. Впрочем, по нашему мнению, это нимало не вредит истине его уверений.

[^^^]

11

«De l'etat des choses a Naples», par Jules Gondou
(«О положении дел в Неаполе» Жюля Гондо-
на – *фр.* – *Ред.*). Paris, 1855, p. 158–160.

[^^^]

12

(«Да здравствует король» – *фр.* – *Ред.*) «L'Italie
politique et religieuse», par l'abbe J. H. Michon.
Bruxelles, 1859, p. 81.

[^^^]

13

Фердинанду было тогда 47 лет.

[^^^]

14

«L'Italie politique et religieuse», p. 84–85.

[^^^]

15

«Quelqites mols do veritu sur Naples», p. 6–7.

[^^^]

16

«Quelques lettres sur L'Italie», par E. Paris
(«Несколько писем об Италии» Е. Пари – *фр.* –
Ред.), 1858, p. 2.

[^^^]

17

«Naples et les Napolitains», par Theodore Vernes
(«Неаполь и неаполитанцы» Теодора Верна –
фр. – *Ред.*). Bruxelles, 1859, p. 298–300.

[^^^]

18

«Lollres italiennes», par Charles de la Varenne («Итальянские письма» Шарля де ла Варенна – *фр.* – *Ред.*). Paris, 1858, p. 284.

[^^^]

19

«Italienische Zustände», von Th. Mundt («Состояние Италии» Т. Мундта – *нем.* – *Ред.*). Berlin, 1860, T. IV, S. 285–286.

[^^^]

20

«Le parti national italien», par Montanelli («Итальянская национальная партия» Монтанелли – *фр.* – *Ред.*). – Dans la «Revue de Paris», 1856, livre du 15 juillet, p. 481 sq.

[^^^]

21

Michon. L'Italie politique et religieuse (Мишон. Политика и религия в Италии – *ит.* – *Ред.*), p. 83.

[^^^]

22

«Да здравствует конституция!» (*ит.*). – *Ред.*

[^^^]

23

(«Да здравствует строительство! Да здравствует заповор! Да здравствует раскаяние!» – *ит.* – *Ред.*). «La terreur dans le Royaume de Naples», par Yules Gondon («Террор в Неаполитанском королевстве» Жюля Гондона – *фр.* – *Ред.*). Paris, 1851, p. 145.

[^^^]

24

«Deux ans de revolution en Italie», par F. T. Perrens («Два года революции в Италии» Ф.-Т. Перренса – *фр.* – *Ред.*). Paris, 1857, p. 468–470.

[^^^]

25

«Naples et les Napolitains», par Th. Vernes, p. 306.

[^^^]

26

«De l'etat des choses a Naples», p. 4.

[^^^]

27

G. Fr. Kolb. Handbuch der vergleichenden Statistik, p. 288 (Г. Фр. Кольб. Руководство по сравнительной статистике, стр. 288 – *нем. – Ред.*).

[^^^]

28

«De Mat des choses a Naples», par J. Gondon, p. 173–176.

[^^^]

29

Священное уведомление (*ит.*). – *Ред.*

[^^^]

30

«Naples et les Napolitains», chapitre V–VI, Religion, miracles (Религия, таинство – *фр.* – *Ред.*).

[^^^]

31

«L'Italie politique et religieuse», p. 110, 113.

[^^^]

32

«Quelques mots de verite sur Naples», p. 18.

[^^^]

33

«Naples ct les Napolitains», p. 165.

[^^^]

«L'Italie Moderne», par Ch. Mazade («Современная Италия» Ш. Мазада – *фр.* – *Ред.*), p. 270.

[^^^]

Когда что-нибудь противное небесам совершится в Неаполе, тогда чудо не делается – кровь св. Дженоаро не растворяется. Вот почему для успокоения народа, боявшегося газового освещения, должны были прибегнуть к св. Дженоаро: чудо совершилось, и народ успокоился, видя, что газ не противен святому. В последнее время писали, что клерикальная партия хотела устроить, чтобы чудо не совершилось после вступления Гарибальди в Неаполь; но Гарибальди устроил дело по-своему.

[^^^]

Мы не можем отказать себе в удовольствии сообщить нашим читателям назидательный рассказ г. Жюля Гондона («De l'etat des choses a Naples», p. 201–202) об открытии мощой королевы 1853 года 31 января, в день годовщины ее смерти. «Гроб, заключающий останки ее, был открыт по нарочитому повелению его святейшества, в присутствии кардинала-архиепископа неаполитанского, всех членов епископии, придворного священника, папского нунция, шести придворных особ и других лиц, *трех первых хирургов* столицы и двух придворных дам, принявших последние вздохи королевы. Гроб был открыт очень осторожно, и каково же было всеобщее изумление, когда тело обретенное было нетленным во всех своих членах и мягким, как у человека заснувшего. У умершей поднимали руки и пр., и они без всякого затруднения принимали или прежнее свое положение, или всякое другое, какое хотели дать им. При этом не замечено в теле ни одного из признаков тления: зубы были все на своем месте, веки и ресни-

цы не потерпели никакого изменения, зрачки остались полны блеска, волосы держались как при жизни! Заметна только была во всем теле некоторая худоба и темный цвет кожи. В минуту раскрытия гроба все присутствующие ощутили благоухание. А между тем перед смертью тело королевы было все сожжено антоновым огнем, почернело и смердело так, что никто не мог выносить запаха и в течение трех дней должны были держать окна открытыми. Не нужно забывать и того, что так как королева не хотела, чтобы ее тело анатомировали, то при бальзамировании внутренности из нее не были вынуты. По окончании различных испытаний произнесли торжественную клятву над святым евангелием и, написав на пергаменте протокол события, положили его в вазе к ногам трупа; потом запечатали гроб двенадцатью печатями и опустили в мраморную гробницу, заранее для того приготовленную и поставленную в таком месте церкви, где всякий может удобно приближаться к ней. Несметные толпы приходят на поклонение к гробнице той, которая при жизни была обожаема своими подданными. Со-

стояние, в каком найдено ее тело, служит залогом, что после своей смерти она будет расточать благодеяния еще более многочисленны и великие, нежели какие разливала во время своего странствования в сем мире. Уже рассказывают многие чудеса!.. О, могущество милосердия божия, воздвигающего святых на всех степенях и во всех состояниях!..»

[^^^]

37

Jules Gondon. De l'etat des choses a Naples, p. 198.

[^^^]

38

Montanelli. Memoires sur l'Italie (Монтанелли. Записки об Италии – *фр.* – *Ред.*). Paris, 1857, t. II, p. 80,

[^^^]

39

Monlanelli. Memoires sur l'Italie, t. II, p. 110.

[^^^]

40

«Naples et les Napolitains», p. 60.

[^^^]

41

Montanelli. Memoires sur l'Italie, p. 82.

[^^^]

42

«Histoire de l'Italie», par J. Ricciardi («История Италии» Ж. Ричарди – *фр.* – *Ред.*), p. 69.

[^^^]

43

«Философский катехизис для низших школ». Неаполь, издание Рафаэля Мирондо, 1850 (*ит.*). – *Ред.*

[^^^]

44

«Коллекция полезных книг для воспитания правды и добродетели» (*ит.*). – *Ред.*

[^^^]

45

«Two letters to the Earl of Aberdeen, on the State Prosecutions of the Neapolitan governement» («Два письма лорду Абердину по поводу обвинения, предъявленного государством неаполитанскому правительству» – *англ.* – *Ред.*), стр. 50–51 и сл.

[^^^]

46

Jules Gondou. Terreur a Naples, p. 156.

[^^^]

47

В статье «Литературные мелочи»{84}.

[^^^]

48

«Quelques mots de verite sur Naples», p. 17.

[^^^]

49

«L'Italie politique et religieuse», p. 93.

[^^^]

50

Montanelli. Memoires sur l'Italie, t. II, p. 101.

[^^^]

51

«L'Italie est-elle la terre des morts?», par Marc Monnier («Является ли Италия страной мертвецов?» Марка Монье. – *фр.* – *Ред.*). Paris, 1860, chap. XVI, p. 265.

[^^^]

Это напоминает один анекдот с туринской цензурой ранее 1848 года. 15 одной опере Беллини театральная цензура запретила слово «свобода» – *liberta*, и велела петь вместо него *lealta* – честь. Ронкони, отличавшийся всегда буффонством еще более, чем талантом певца, положил, что вместо *liberta* всегда будет петь *lealta*, как более приличное. Вскоре за тем действительно и «Любовном напитке» вместо стиха – *Vende la liberta, si fo soldato* (то есть он продал свою свободу – сделался солдатом), Ронкони пропел: *vedne la lealta*, – то есть «он продал свою честь – сделался солдатом». Театр задрожал от всеобщего хохота.

[^^^]

Эти факты и некоторые из приведенных ниже упоминаются: у г. Монье, «L'Italie est-elle la terre des morts?»; у г. Шарля Мавада, в статье «Ferdinand II», в «Revue des deux Mondes» 1859 года; у г. Верна, в книге «Naples et les Napolitains»; у Монтанелли, в «Memoires sur l'Italie»; у Шарля Пейя, в «Naples, 1130–1857», и статье Петручелли де ла Гаттуна «Ferdinand II, roi de Naples», в «Revue de Paris», 1856, 15 октября et 15 ноября.

[^^^]

54

Ch. Mazade. L'Italie moderne, p. 293.

[^^^]

55

См.: Montanelli. Memoires, II, 107; Perrens. Deux ans de revolution, p. 486–487; Joseph Ricciardi. Histoire de l'Italie, p. 69.

[^^^]

56

Ch. Paya. Naples (Ш. Пейа. Неаполь, – *фр.* – *Ред.*)

[^^^]

57

P. Leopardi. *Narraciones storiche del 1848* (П. Леопарди. Исторические очерки о 1848 годе – *фр.* – *Ред.*), p. 66.

[^^^]

58

«Quelques mots de verite sur Naples», p. 17.

[^^^]

59

Th. Vernes. *Naples et les Napolitains*, p. 289.

[^^^]

60

«De l'etat des choses a Naples», p. 69.

[^^^]

61

Leopardi. Narracioni sforiche, p. 26.

[^^^]

62

«L'Italie et la maison de Savoie», par Ernest Rasetti («Италия и Савойский дом» Эрнеста Разетти – *фр.* – *Ред.*). Paris, 1860, p. 281–285.

[^^^]

63

«Memoires sur l'Italie», t. II, p. 71.

[^^^]

64

«Naples et les Napolitains», p. 38.

[^^^]

65

«Quelques mots de verite sur Naples», p. 15.

[^^^]

66

«L'Italie politique et religieuse», p. 92.

[^^^]

67

Ch. Paya. Naples, p. 418.

[^^^]

68

Montanelli. Memoires, t. II, p. 118.

[^^^]

69

«Memoires», t. II, p. 100–101.

[^^^]

70

Balbo. Cesar. Histoire d'Italie, t. II, p. 213.

[^^^]

71

Анекдот этот повторен был многими из писавших о Неаполе; г. Гондон отказывается, впрочем, верить ему на том основании, что лорд Пальмерстон не сказал, когда и с кем имеет был этот случай. – «De l'etat des choses a Naples» («О положении дел в Неаполе» – *фр.* – *Ред.*), p. 65.

[^^^]

«Delle presenti condizioni d'Italia», р. due de Venhignano.

[^^^]

В декабре вышла в Милане книга полковника Пианчани «Dell'andamento delle cose in Italia», на каждой странице доказывающая, что вмешательство пьемонтского правительства, со времени первой экспедиции Гарибальди, постоянно служило ко вреду общего дела единства и независимости Италии{85}. Мы, может быть, еще возвратимся к этой замечательной книге.

[^^^]

Умеренные (*ит.*). – *Ред.*

[^^^]

В Генуе к концу года появился, например, между прочим, демократический альманах, под названием «Savour», являющийся уже не в первый раз. Ныне помещены в нем лирические сцены: «Savour nell'imbarazzo»{86}. Затруднительное положение Кавура изображается здесь весьма комически, особенно обманутые надежды его на Ратацци; но в самую критическую минуту, когда Кавуру приходится бежать из министерства{87}, он вдохновляется и принимает вид необыкновенно воинственный и смелый (*audace* напечатано курсивом) и поет:

*Impertinenti! Lo vedrete or ora!
Un pensier m'e venuto!
Occupero le Marche. Non importa,
La faccio ora o riprendo*

*La popolarita che avea perduta... u
nr.*

*Zatem i moderati раздражаются
воинственным хором:*

Fratelli d'Italia,

Cavour si ridesta... u nr. {88}.

Альманах украшен плохими карикатурами и продается по два сольдо, то есть 2 1/2 коп. сер.

[^^^]

76

Заглавие брошюры: «Garibaldi o Cavour?» Ее смысл виден уж из одного эпиграфа: «Гарибальди – Палермо и Неаполь; Капур – Ницца и Савойя». В брошюре 32 страницы – обыкновенный размер политических брошюр, принятый во Франции; формат меньше, но печать несравненно убористее; и между тем цена брошюры 3 сольдо, то есть 15 сантимов, тогда как французские брошюры продаются по франку {89}.

[^^^]

[^^^]

Комментарии

1

По преданию, последний царь Древнего Рима *Тарквиний Гордый* был изгнан из Рима в результате народного восстания.

[^^^]

2

Делькаретто был министром полиции в 1831–1848 гг.

[^^^]

3

Восстание в Сицилии началось 4 апреля 1860 г. в столице острова – Палермо, где было вскоре подавлено, но быстро распространилось по всему острову, превратившись в широкое, хотя и неорганизованное повстанческое движение.

[^^^]

4

Гарибальди, получив известие о восстании в Сицилии, организовал экспедицию на помощь повстанцам. 11 мая 1860 г. во главе отряда добровольцев (знаменитой «тысячи») он высадился на западном побережье острова и 27 мая после двух недель героических боев подошел к Палермо. В результате тяжелого трехдневного сражения на улицах города гарибальдийцы заставили королевские войска сложить оружие и очистить город.

[^^^]

5

Кондотьер – предводитель наемного военного отряда в Италии в XIV–XVI вв. Здесь: военачальник, полководец.

[^^^]

6

Калабрия – область на юге Апеннинского полуострова.

[^^^]

7

Переправившись на материк в ночь с 18 на 19 августа 1860 г., Гарибальди уже 7 сентября торжественно вступил в Неаполь. Успеху похода способствовали восстания против неаполитанских властей на юге Италии и разложение армии Бурбонов, некоторые соединения которой без сопротивления сдались в плен.

[^^^]

8

Последний неаполитанский король Франциск II 5 сентября 1860 г., накануне вступления в Неаполь Гарибальди, бежал из города, приказав своим войскам, дислоцированным в районе столицы, отступить без боя в район крепостей Капуя и Гаэта, ставших последним оплотом Бурбонов (см. также примеч. 12).

[^^^]

Правительство Пьемонта (Сардинского королевства), опасаясь вызвать недовольство европейских держав, после Виллафранкского мира (см. примеч. 85) не оказывало поддержки объединительному движению, ссылаясь на уважение к международному праву. Оно ответило отказом на предложение Гарибальди двинуть войска на помощь сицилийским повстанцам и всячески препятствовало организации экспедиции Гарибальди (см. примеч. 79). Только после того, как Гарибальди, изгнав Бурбонов из Сицилии и совершив победоносный поход на Неаполь, объявил о своем намерении идти на Рим, пьемонтское правительство решило принять участие в войне за освобождение Италии, вырвать дело объединения из рук демократического движения. В сентябре 1860 г. пьемонтские войска вступили в Папскую область и, быстро разбив армию папы, в начале октября перешли границу Королевства Обеих Сицилии под видом помощи отрядам Гарибальди, которые еще продолжали сражаться с войсками Бурбонов.

[^^^]

10

Добролюбов имеет в виду плебисцит в Королевстве Обеих Сицилии, состоявшийся 21 октября 1860 г.

[^^^]

11

Меттерниховскими Добролюбов называет трактаты Венского конгресса 1814–1815 гг., восстановившие Королевство Обеих Сицилий под властью Бурбонов, которые утратили ее в материковой части Италии после наполеоновских войн. Решения конгресса относительно Италии, поставившие ее в фактическую зависимость от Австрии, были приняты благодаря усилиям австрийского министра иностранных дел князя Меттерниха. Возможно, также имеются в виду протоколы конгрессов Священного союза (см. примеч. 78).

Капуя была взята соединенными силами гарибальдийских и регулярных пьемонтских войск 3 ноября 1860 г. Из-за того, что французская эскадра, стоявшая в гавани Гаэты, не позволяла атаковать крепость с моря, она была взята лишь 18 февраля 1861 г., а на следующий день Франциск II прибыл в Рим, где ему предоставил убежище папа римский. Во время революции 1848–1849 гг. Пий IX укрывался в Гаэте по приглашению отца Франциска II – Фердинанда II.

13

«Шаривари» (1832–1866) – французский юмористический журнал, оппозиционный режиму Луи-Филиппа и Наполеона III, «Кладдерадач» (1848–1864) – немецкий юмористический журнал.

[^^^]

14

Подчеркивая неспособность «благомыслящих» людей разобраться в подлинных причинах итальянских событий, Добролюбов перефразирует слова почтмейстера Шпекина из «Ревизора», который объяснял приезд петербургского чиновника войной с турками и тем, что «это все француз гадит». Определяющим фактором английской политики в итальянском вопросе было стремление не допустить усиления влияния Франции на Апеннинском полуострове, поэтому английский кабинет поддерживал объединительное движение в Италии. Однако Англия выступала против

присоединения и Пьемонту Рима и Венеции, находившейся под властью Австрии, так как это привело бы к новой европейской войне и к росту политического могущества Франции.

[^^^]

15

Кифа Мокиевич – персонаж поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души».

[^^^]

16

Имеются в виду: стихотворение Добролюбова «На взятие Парижа (если бы оно случилось)» («Свисток», № 3), пародирующее казенно-патриотическую лирику; выступления Н. Г. Чернышевского по коренным социально-экономическим и философским вопросам: статьи в защиту освобождения крестьян с землей («О необходимости держаться возможно умеренных цифр при определении величины выкупа» – *Совр.* 1858, № 11; «Труден ли выкуп зем-

ли?» – *Совр.*, 1859, № 1, и др.), в защиту крестьянской общины, в которой Чернышевский видел переходную ступень к социализму («О поземельной собственности» – *Совр.*, 1857, № 9, 11; «Критика философских предубеждений против общинного владения» – *Совр.*, 1858, № 12, и др.), статью «Антропологический принцип философии» (*Совр.*, 1860, № 4, 5), представляющую собой систематическое изложение теории «разумного эгоизма».

[^^^]

17

Безобразов В. П. Поземельный кредит и его современная организация в Европе (*Совр.*, 1859, № 2, 6, 8, 10, 12).

[^^^]

Упоминаются следующие публикации «Русского вестника»: де Молилари Г. Экономическая корреспонденция (1859., январь, кн. 2; сентябрь, кн. 1; октябрь, кн. 2; ноябрь, кн. 1); Герсеванов Н. Б. О жалованье предводителям дворянства (1860, сентябрь, кн. 1); Сальников И. О податных сословиях и круговой поруке. По поводу вопроса о паспортах (1860, август, кн. 2); Карлгоф Н. О политическом устройстве черкесских племен, населяющих северо-восточный берег Черного моря (там же). Из названных авторов двое – одиозные для Добролюбова фигуры. Г. де Молилари – бельгийский буржуазный экономист, пользовавшийся большим авторитетом среди русских либералов. В рецензии на книгу Молилари «Курс политической экономии» (рус. перевод – СПб., 1860) Чернышевский высмеял претензию этого посредственного экономиста «поразить социализм насмерть» (*Совр.*, 1860, № 9). Н. Б. Герсеванов – реакционный публицист, ярый крепостник. В 1860 г. он выпустил в Берлине брошюру под характерным названием «О социа-

лизме Редакционных комиссий».

[^^^]

19

Слова Устенъки – героини комедии А. Н. Островского «Праздничный сон до обеда» (д. III, явл. 3).

[^^^]

20

Добролюбов имеет в виду лидеров демократического крыла итальянского национально-освободительного движения – Дж. Мадзини, К. Пизакане и др. (см. в кн.: Берти Дж. Демократы и социалисты в период Рисорджименто, пер. с итал. М., 1965).

[^^^]

На протяжении 1850-х гг. в Мексике в ходе ожесточенной борьбы между силами консервативно-клерикальной реакции и либералами несколько раз происходила смена политического режима (в 1853, 1855, 1857); к концу 1860 г. гражданская война завершилась победой либералов.

М. И. Семевский с 1856 г. постоянно выступал в различных изданиях с небольшими очерками, посвященными отдельным лицам и эпизодам русской истории, главным образом XVIII в. В это время он был также деятельным поставщиком исторических материалов для герценовских изданий (см.: Эйдельман Н. Я. Тайные корреспонденты «Полярной звезды». М., 1966). Впоследствии Семевский стал издателем крупного исторического журнала «Русская старина». Судя по рецензии Добролюбова на одну из первых работ Семевского «Великие Луки и великолукский уезд» (СПб., 1857), критик воспринимал историческую публицистику Семевского как одно из проявлений либерального обличительства и поэто-

му относился к ней отрицательно (см: II, 199–203).

[^^^]

22

Смягчение жесткого полицейского режима в Австрии в 1859 г. Добролюбов сравнивает с неоднократными изменениями программы официальной газеты Военного министерства «Русский инвалид» (1813–1917), вызванными постоянным падением подписки.

[^^^]

23

Имеются в виду «Письма с дороги по Германии, Швейцарии и Италии» Н. И. Греча (т. 1–3, СПб., 1843) и «Замечания об Италии, преимущественно о Риме» К. П. Пауловича (Харьков, 1856).

[^^^]

24

Последнее тридцатилетие – время правления короля Фердинанда II (1830–1859).

[^^^]

См. примеч. 78.

[^^^]

Имеется в виду брошюра «Two letters to the earl of Aberdeen on state prosecution of Neapolitan government» («Два письма к лорду Абердину по поводу политических преследований, проводимых неаполитанским правительством»), London, 1851. Разосланные в качестве официального документа всем английским послам в европейских странах, они произвели большое впечатление на мировое общественное мнение и вызвали дипломатический конфликт между Англией и Неаполитанским королевством.

[^^^]

27

Название брошюры: «An examination of the official replay of Neapolitan government» («Исследование официального ответа Неаполитанского правительства»), London, 1852.

[^^^]

28

Ж. Гондон пытался опровергнуть Гладстона в брошюре: «La terreur dans la royaume de Naples» («Террор в Неаполитанском королевстве»), Paris, 1851. Клерикальная французская газета «L'Univers» была закрыта Наполеоном III в январе 1860 г. за резкое порицание его политики в итальянском вопросе (союз с Пьемонтом в войне против Австрии в 1859 г. и др.), вызвавшей новый подъем национально-освободительного движения в Италии, в том числе и во владениях папы римского.

[^^^]

29

Имеется в виду революция 1848 г.

[^^^]

30

Даниеле *Манин* – руководитель антиавстрийского восстания и возникшей в ходе его республики в Венеции в 1848–1849 гг.

[^^^]

31

От фр. «куртизан» – придворный, льстец.

[^^^]

«Чудо» святого Дженоаро, считавшегося патроном Неаполя, заключалось в том, что трижды в год и в дни важных общественных событий засохшая кровь святого, хранившаяся в стеклянных сосудах, «разжижалась» при поднесении ее к голове святого. Если «чуда» не происходило, это считалось плохим предзнаменованием. Католическое духовенство использовало этот несложный трюк для укрепления своего влияния на общественную жизнь Неаполя.

[^^^]

Добролюбов имеет в виду представление о надклассовой природе королевской власти, которое явилось одним из основных элементов философско-исторической концепции известного французского историка Ф. Гизо. Это представление опиралось, в частности, на такое явление средневековой истории, как союз королевской власти с городскими коммуна-ми в борьбе против крупных феодалов (см., напр., «Историю цивилизации в Европе» Ф. Гизо; рус. перевод – СПб., 1892).

[^^^]

Французский гражданский кодекс 1804 г. (или Кодекс Наполеона) – классический свод законов буржуазного общества, закреплявший его основные институты (равенство перед законом, частную собственность и др.) и оказавший решающее влияние на гражданское законодательство капиталистических стран. В Италии был введен в период французского господства (в 1806 г.) В сохранен с некоторыми изменениями в Королевстве Обеих Сицилии после возвращения Бурбонов в 1815 г.

[^^^]

Конскрипция – рекрутский набор.

[^^^]

Имеются в виду конституции, вырванные революцией 1848 г. у Фердинанда II (10 февраля 1848 г.), сардинского короля Карла-Альберта (4 марта 1848 г.) и папы римского Пия IX (14 февраля 1848 г.). Неаполитанская и римская конституции были в ходе подавления революции отменены. *Хартия 1830 г.* – французская конституция, принятая в результате Июльской революции. Она зафиксировала смягчение конституционно-монархического режима по сравнению с периодом Реставрации.

[^^^]

Сикулы – одно из древних племен Южной Италии и Сицилии, давшее название этому острову; вели продолжительные войны с Афинами и Карфагеном. *Самниты* — племена Центральной и Южной Италии; во второй половине IV – начале III вв. до н. э. вели войны с Римом. *Норманны* – потомки скандинавских викингов, выходцы из Нормандии; в конце XI века завоевали Сицилию и Южную Италию и основали здесь Сицилийское королевство, просуществовавшее около двух веков.

[^^^]

38

Имеется в виду дипломатическое давление Англии и Франции на неаполитанского короля во второй половине 1850-х гг. с целью заставить его провести буржуазные реформы и тем самым предотвратить революционный взрыв.

[^^^]

39

То есть до переправы гарибальдийских отрядов с Сицилии на материк.

[^^^]

40

Имеется в виду письмо Виктора Эммануила от 22 июля 1860 г., в котором он в форме совета высказывал отрицательное отношение к походу Гарибальди на Неаполь, в результате которого Королевство Обеих Сицилий было присоединено к Пьемонту.

[^^^]

41

То есть со времени восстания под предводительством неаполитанского рыбака Т. Мазаньелло в Южной Италии (1647 г.), направленного против испанского господства.

[^^^]

42

В 1844 г. морские офицеры братья Бандьера с 19-ю товарищами предприняли экспедицию с острова Корфу в Калабрию с целью поднять восстание против Бурбонов, но, выданные предателем, были вскоре после высадки схвачены и казнены.

[^^^]

43

Брошюра Л. Сеттембрини «Протест народа Обеих Сицилий», нелегально отпечатанная в 1847 г., обличала полицейский деспотизм Бурбонов. В накаленной предреволюционной атмосфере брошюра получила большой общественный резонанс.

[^^^]

Выдающийся революционер-демократ Карло Пизакане в 1857 г. возглавил организованную им совместно с Дж. Мадзини экспедицию в Неаполитанское королевство с целью поднять революцию против Бурбонов. Прибыв на захваченном ими пароходе в Сапри (западное побережье Италии южнее Неаполя), Пизакане и его товарищи не встретили поддержки местных тайных организаций, на которую рассчитывали. Через несколько дней патриоты были разбиты в неравном бою с королевскими войсками. Раненый Пизакане застрелился.

[^^^]

45

14 мая 1848 г. между парламентом, созданным неаполитанским королем под давлением оппозиционных выступлений, и Фердинандом II произошел конфликт, приведший к восстанию в Неаполе 15 мая. Оно было подавлено, а парламент распущен. Эти события явились первым актом наступления контрреволюции.

[^^^]

46

Сбирь – полицейские.

[^^^]

47

Догмат о том, что дева Мария была зачата так же непорочно, как и Иисус Христос, был провозглашен папой римским в 1854 г. *Скоттисты* и *томисты* – представители противостоящих друг другу течений в схоластике (католическом богословии), первые – последователи Иоанна Дунса Скота, вторые – Фомы Аквинского.

[^^^]

48

Диоцезы – в католической церкви округа под ведением епископа.

[^^^]

49

Прогрессивные историки, преподаватели Коллеж де Франс Ж. Мишле и Э. Кине в середине 1840-х гг. повели борьбу против засилья католической церкви в общественном образовании; в частности, они прочитали курсы лекций об иезуитах – «Les Jesuites» («Иезуиты»). Paris, 1845.

[^^^]

50

Редизжировать – редактировать.

[^^^]

51

Добролюбов имеет в виду катехизисы, излагающие основы христианского вероучения.

[^^^]

52

Один из примеров того, как Добролюбов в самой оговорке, предназначенной для цензуры, проводит «вредную» мысль. Уверая, что между сицилийской книжкой и русскими учебниками нет никакого сходства и вместе с тем указывая лишь формальное различие – распределение ролей в диалоге, Добролюбов предупреждает цензурные придирки и одновременно подчеркивает проводимую им параллель.

[^^^]

53

Имеется в виду инспектор Главного педагогического института в 1848–1859 гг., профессор математики Л. Н. Тихомандритский (см.: Добролюбов в воспоминаниях современников, с. 52, 82, 94, 137).

[^^^]

54

Опять оговорка для цензуры.

[^^^]

Присутствие *Кампанеллы* в этом перечне определяется, по-видимому, не только тем, что Кампанелла был религиозным и политическим вольнодумцем, создателем коммунистической утопии, но и тем, что в 1598–1599 гг. он возглавил на юге Италии заговор против испанского господства.

В. *Джоберти* – духовный лидер умеренно-либерального крыла итальянского национально-освободительного движения; выдвигавшая им идея создания федерации итальянских монархов под руководством папы римского (в книге «О духовном и гражданском первенстве итальянцев», 1843) оказала большое влияние на общественное мнение Италии.

[^^^]

56

Имеется в виду книга М. Амари «О войне «Сицилийской вечерни» (1842), посвященная народному восстанию в Сицилии в 1282 г. против французского господства, получившему название «Сицилийской вечерни».

[^^^]

57

На фоне жесткого политического режима, царившего в это время в государствах Италии, умеренные либеральные реформы, проведенные Пием IX вскоре после его вступления на престол в 1847 г. (амнистия политзаключенным, смягчение цензуры, некоторые преобразования администрации и др.), произвели огромное впечатление на современников и послужили толчком к развертыванию либерального движения по всей стране, причем имя папы стало на некоторое время знаменем этого движения.

[^^^]

58

Точное название: «Ginevra, or rorfanella della Nunziata» («Женева, приют Нунциаты», 1839) – один из первых итальянских социальных романов.

[^^^]

59

«*Jornal des Dibats*» и «*Constitutionnel*» – французские газеты. Первая занимала в 1820–1830-х гг. консервативно-монархические позиции, вторая – умеренно-либеральные, конституционно-монархические.

[^^^]

Мюратисты – сторонники возвращения к власти в Королевстве Обеих Сицилий династии И. Мюрата, наполеоновского маршала, ставшего неаполитанским королем (в 1808 г.) после завоевания Италии французами. Сам И. Мюрат погиб в 1815 г. в борьбе с Бурбонами, и пропаганда мюратистов велась в пользу его младшего сына Люсьена, вернувшегося в 1848 г. из Америки во Францию. Серьезного влияния в Италии мюратисты не имели, но некоторое политическое значение им придавала поддержка Наполеона III.

[^^^]

Марсельская «Юная Италия» – подпольная революционная организация «Молодая Италия», основанная Дж. Мадзини в Марселе в 1831 г. По своим целям – создание единого итальянского государства в форме республики путем народной революции – резко отличалась от тайных обществ карбонариев, стремившихся лишь к установлению конституционных режимов в государствах Италии. *Новая секта «Юной Италии»* – влиятельное неокарбонарское общество «Сыны «Молодой Италии», основанное Б. Музолино в 1833–1834 гг. в Калабрии. В отличие от старых обществ карбонариев, это общество ставило себе в качестве ближайшей задачи создание единой итальянской республики, в качестве конечной – построение общества социальной справедливости. Музолино и его товарищи по ряду принципиальных вопросов расходились с Дж. Мадзини. Деятельность общества замерла после арестов Музолино и других членов в 1839–1840 гг., а не в 1833 г., когда был раскрыт заговор Россароля.

[^^^]

62

По-видимому, речь идет о гонениях на тех, кто носил бороду и шляпу, как у Гарибальди.

[^^^]

63

После капитуляции Палермо (см. примеч. 4) неаполитанское правительство обратилось к Наполеону III с просьбой о посредничестве с целью заключения договора между Неаполем и Пьемонтом. Кавур пытался уклониться от переговоров, но под давлением Наполеона III был вынужден согласиться на них. Однако условия, поставленные Кавуром Франциску II для заключения союза, не были выполнены, и соглашение не состоялось.

[^^^]

Выражение из статьи графа Монталамбера, опубликованной в журнале «Correspondant» (1860, октябрь). *Пьемонтскими величишками* один из лидеров католической партии во Франции назвал пьемонтских королей – в сравнении с величием папы римского. Добролюбов приводит это выражение и в статье «Два графа», где, характеризуя Монталамбера, широко цитирует и пересказывает его статью (VI, 446–465).

[^^^]

Сардиния вступила в Крымскую войну, не сулившую ей никаких прямых выгод, исключительно с целью заручиться поддержкой Англии и Франции на случай борьбы с Австрией. Благодаря ловкости Кавура, Сардиния играла на Парижском конгрессе 1856 г. заметную роль, что позволило ей поставить вопрос о положении в Италии: о присутствии в папских владениях иностранных войск, о реакционной внутренней политике папы, неаполитанского короля и других итальянских монархов. Однако Сардиния не смогла добиться принятия каких-либо решений из-за сопротивления Австрии.

[^^^]

66

То есть Францию: в соответствии с тайным соглашением между Наполеоном III и Кавуром в Пломбьере (июль 1858 г.) Франция в союзе с Пьемонтом в 1859 г. вступила в войну с Австрией.

[^^^]

67

Успешная франко-итальянская война против Австрии (апрель – июль 1859 г.) всколыхнула национально-освободительное движение в Центральной Италии. В результате восстаний в герцогствах Тоскана (27 апреля 1859 г.), Парма (3 мая), Модена (15 июня) проавстрийские монархические режимы были свергнуты. Восстание произошло также в Романье, входившей в Папскую область (13 июня). Пришедшие к власти временные правительства заявили о желании населения этих государств присоединиться к Пьемонту.

Генерал Ламорисьер командовал папской армией, созданной в апреле 1860 г. из французских легитимистов и разбитой сардинскими войсками в сентябре того же года при Кафельфардо. Граф К.-Ф. Буоль-Шауэнштейн с 1852 г. был министром иностранных дел Австрии. В 1859 г. позволил втянуть свою страну в бесперспективную войну с Францией и Пьемонтом и вынужден был уйти в отставку.

Имеется в виду крайне тенденциозная и изобилующая ошибками книга бывшего английского посла в Париже лорда Норменби о французской революции 1848 г. – «A year of revolution» («Год революции»), v. 1–2, London, 1857. С опровержением этой книги выступил один из деятелей временного правительства 1848 г. социалист-утопист Луи Блан («Revelations historiques en reponse on livre de lord Normanby» – «Ответ историческими фактами на книгу лорда Норменби»; v. 1–2, Bruxelles, 1859).

А. А. *Гаряинов* – автор многочисленных брошюр, проникнутых духом казенного патриотизма (большинство из них печаталось в типографии Н. И. Греча). Одной из них – «Что такое г. Тиер и нашествие его на Россию» (СПб., 1858) – Добролюбов посвятил специальную рецензию (см.: II, 483–488).

Сардинский посланник во Флоренции К. Бонкомпаньи в событиях конца апреля 1859 г., приведших к свержению герцога Тосканы Леопольда II, находился на стороне «умеренных», желавших лишь изменения политики герцога. В мае – июле 1859 г. Бонкомпаньи руководил правительством Тосканы.

[^^^]

«Умеренные», пришедшие к власти в Тоскане после изгнания герцога Леопольда, боясь демократических выступлений, обратились к правительству Пьемонта с просьбой прислать войска. Чтобы не вызвать недовольства Наполеона III, который не желал присоединения Тосканы к Пьемонту, Кавур отказал, но направил в Тоскану генерала Дж. Уллоа, который взял на себя командование тосканскими вооруженными силами.

[^^^]

72

Л.-К. Фарини не участвовал в событиях мая – июня 1859 г., приведших к свержению герцога моденского и герцогини пармской. По приказу пьемонтского правительства он руководил временной администрацией герцогств до их официального присоединения к Пьемонту в марте 1860 г.

[^^^]

73

См. примеч. 9.

[^^^]

Имеется в виду «Allgemeine Zeitung» («Всеобщая газета») – крупная немецкая газета, основанная в 1798 г., в 1810–1882 гг. выходила в Аугсбурге. Позиция газеты в итальянском вопросе охарактеризована Ф. Энгельсом в брошюре «По и Рейн» (1859).

[^^^]

Австрийский канцлер князь Меттерних был главным вдохновителем политики подавления национально-освободительного и революционного движения, проводившейся Священным союзом в европейском масштабе. В частности, по инициативе Меттерниха на конгрессе в Троппау (1820) члены союза подписали протокол, провозглашавший право вооруженного вмешательства в дела других государств в целях борьбы с революционным движением. В соответствии с решениями этого конгресса Австрия подавила революцию

1820–1821 гг. в Пьемонте и Неаполитанском королевстве.

[^^^]

76

Кавур не решился арестовать Гарибальди и его волонтеров, так как это окончательно подорвало бы авторитет его правительства, уже достаточно пошатнувшийся из-за уступки Наполеону III Ниццы и Савойи (см. примеч. 87). Но он сделал все, кроме открытого применения силы, чтобы помешать экспедиции; в частности, чинил всяческие препятствия вооружению волонтеров, так что они отправились на Сицилию со старыми ружьями, едва пригодными к употреблению.

[^^^]

По-видимому, Добролюбов имеет в виду экспедицию в Папскую область. Отправляясь на Сицилию, Гарибальди поручил своему другу А. Бортани организацию новых отрядов волонтеров, сбор средств, закупку оружия и т. п. для отправки в Сицилию и в Папскую область. Поскольку экспедиция «тысячи» сделала Гарибальди самым популярным человеком в Европе, Кавур не препятствовал отправке ему помощи. Но он решительно воспротивился организации похода в Папскую область, опасаясь международных осложнений, а главное – распространения демократического движения на континент. Угрожая применением силы, правительство Пьемонта сумело сорвать эту экспедицию.

[^^^]

После освобождения Палермо от бурбонских войск (см. примеч. 4) в Сицилию прибыл сардинский уполномоченный Ла Фарина с целью подготовки скорейшего присоединения острова к Пьемонту, так как Кавур хотел помешать Гарибальди превратить Сицилию в оплот демократического движения, не контролируемый правительством. Гарибальди, напротив, озабоченный продолжением борьбы за объединение, выступал за то, чтобы присоединение Сицилии произошло после полного освобождения Италии. Ла Фарина развернул пропаганду против демократической администрации, созданной Гарибальди, и за немедленное присоединение. В связи с этим он по приказу Гарибальди был арестован и выслан из Сицилии.

[^^^]

После победоносного завершения похода на Неаполь, когда Гарибальди находился на вершине могущества и славы, он 11 сентября 1860 г. обратился с письмом к Виктору Эммануилу, в котором говорил о «гнусных помехах», чинившихся ему Кавуром и его приспешниками, и просил удалить их из правительства (см.: Канделоро Дж. История современной Италии, т. 4. М., 1966, с. 529). Король ответил отказом.

[^^^]

По тайному договору в Пломбьере (июль 1858 г.) Пьемонт должен был уступить Франции области Ницца и Савойя за военную помощь в освобождении Северной Италии от австрийского господства. Хотя по вине Наполеона III условия договора были выполнены не полностью и стратегически важная область Венеция осталась под властью Австрии, правительство Кавура все-таки отдало Франции Ниццу и Савойю, «купив» таким образом согласие Наполеона III на присоединение к Пьемонту государств Центральной и Южной Италии, свергнувших своих монархов в 1859–1860 гг.

[^^^]

8 ноября 1860 г. Гарибальди передал власть над бывшим Неаполитанским королевством королю Сардинии Виктору Эммануилу II и временно удалился с политической арены, так как введение пьемонтских войск в Папскую область и Королевство Обеих Сицилий сделало невозможным продолжение борьбы за окончательное объединение Италии, то есть за освобождение Венеции и Рима.

[^^^]

Н. Г. Чернышевский в статье «Г. Чичерин как публицист», посвященной этой книге, показал, что сам Чичерин далек от беспристрастия, которым он прикрывает защиту самодержавия и интересов дворянства, «эгоистическое равнодушие» к страданиям народа (*Совр.*, 1859, № 5). Употребляя без необходимости английское выражение, Добролюбов пародирует стиль книги Чичерина, иронизирует над его англоманией.

[^^^]

См. примеч. 20 к ст. «Русская цивилизация, сочиненная г. Жеребцовым» (наст. изд., т. 1, с. 841). С 1860 г. Н. Ф. Павлов, сотрудничавший ранее в «Русском вестнике», становится редактором газеты «Наше время».

[^^^]

См. преамбулу примечаний к статье «Литературные мелочи прошлого года» – наст. изд., т. 2, с. 726–727.

[^^^]

«Как обстоят дела в Италии» (ит.). Л. Пианчиа-ни — деятель итальянского национально-освободительного движения, близкий к Мадзини. Состоял в переписке с А. И. Герценом.

[^^^]

«Кавур в замешательстве» (ит.).

[^^^]

Имеется в виду отставка Кавура с поста премьер-министра Пьемонта после Виллафранкского мира 11 июля 1859 г., заключенного Наполеоном III с австрийским императором Францем-Иосифом без ведома и вопреки интересам своего союзника Пьемонта. Виллафранкский мир означал крушение политики Кавура, рассчитывавшего добиться объединения Италии с помощью Франции.

[^^^]

«Дерзкие! Скоро вы увидите! У меня идея! Захватчу Марке. Ничего, захватчу ее вновь. Восстановлю утраченную популярность...», «Братья итальянцы, Кавур себя защитил...» (ит.).

[^^^]

Франк состоит из ста сантимов. Указывая на низкую цену брошюры, Добролюбов подчеркивает, что она рассчитана на массового читателя.

[^^^]

[^^^]